

Повесть «Коридор» представляет собой самостоятельное произведение, вошедшее в опубликованный на финском языке роман «Петрозаводский симпозиум» (Petroskoin symposiumi, Verso, 2001).

Повесть рассыпана по роману и является рукописью одного из главных героев, которую другой герой читает и комментирует.

Поэтому читателя просят не путать «автора» с Арви Пертту.

Ненужные ссылки на основное содержание романа убраны, поскольку полностью «Петрозаводский симпозиум» недоступен пока для русского читателя.

Действие повести происходит в годы перестройки в тогдашнем СССР.

Предисловие

Лет пятнадцать назад в журнале «Карелия» был под моим именем напечатан роман «Эстетическая система». Сейчас можно уже признаться, что автором его был не я. Истинный автор романа Александр С. уехал на жительство в Финляндию и дал мне полное право поступать с романом по своему усмотрению с единственным условием: если роман будет опубликован в Финляндии, то гонорар делим поровну.

Через несколько лет после отъезда С. я уволился из частного издательства и перешёл в редакцию журнала «Карелия» на его место. Копаясь в шкафах и ящиках, я наткнулся на папку, на которой по черком С. было написано: «Павел П. Коридор. Оригинал и перевод». Об авторе «Коридора» Александр не писал мне ничего. Его трагическая судьба выяснилась позднее.

Я стал изучать содержимое папок и вскоре пришёл к выводу, что материал достоин публикации без каких-либо серьёзных исправлений. Содержание «Коридора» явно перекликалось с «Эстетической системой», и повесть вполне могла бы быть продолжением романа.

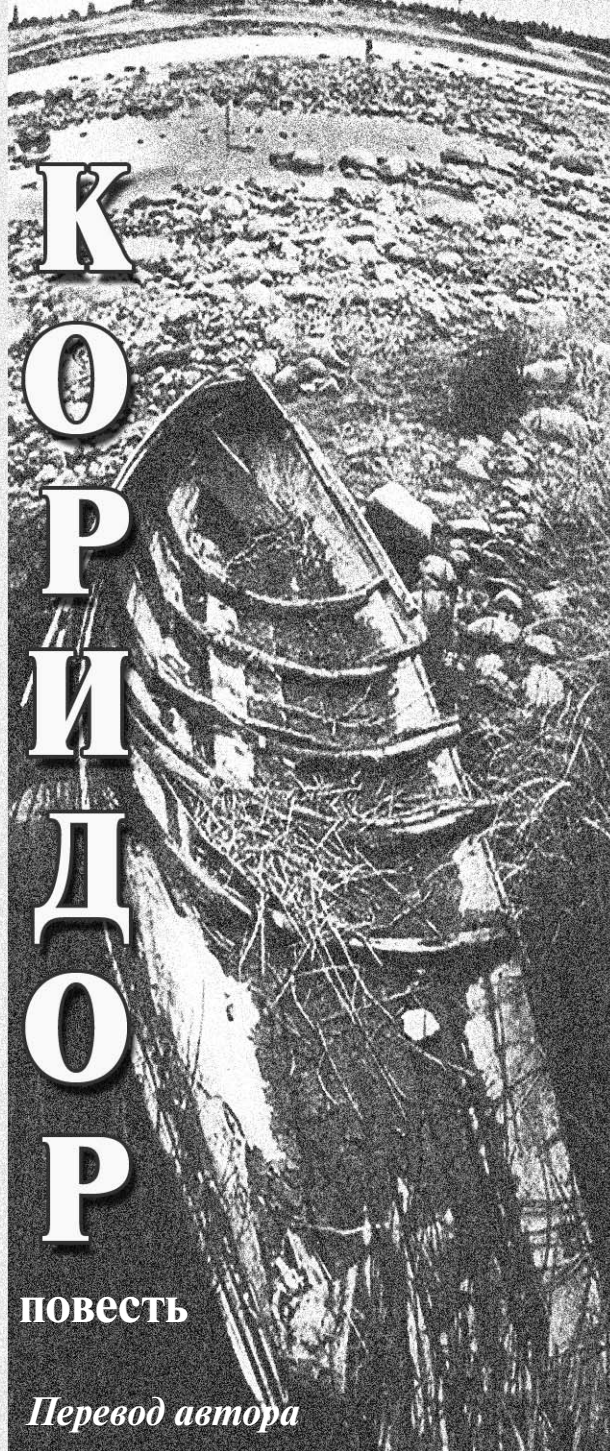
Оригинал рукописи был написан по-русски. С. перевёл его на финский язык, и в некоторых местах текста заметно, что это перевод. У переводчика было всё же то преимущество, что он прекрасно знал и автора (П.), и среду, о которой тот писал (когда-то они вместе работали в театре монтировщиками). Возможно, что С. был знаком с некоторыми прототипами героев рукописи, о чём можно судить по комментариям и заметкам на полях. Я решил напечатать и их тоже, поскольку именно эти заметки освещают как фон событий, так и взаимоотношения автора и переводчика.

Можно также предположить, что и сам С. был прототипом одного из героев «Коридора». Очевидно, С. видел себя в Сомове, во всяком случае такая мысль приходит на ум при изучении сделанных им исправлений.

Все комментарии и вставки, сделанные Александром С., набраны курсивом и размещены в тексте там, где они были на полях рукописи.

Арви ПЕРТТУ

г. Паркано,
Финляндия



КОРИДОР

повесть

Перевод автора

Эта холодная ночь превратит нас всех в шутов и сумасшедших.

В. Шекспир

«Mors est quise viatoris, finif est omnis laboris...»

1. Розовая фея

Он вышел на темную сцену. Утро проникало сюда только одним пыльным лучом из захлапленного бокового «кармана», куда дневной свет пробивался сквозь годами не мытые стекла под самым потолком. Луч выхватывал из полумрака застеленную черным половиком авансцену, оставляя декорации в густой тени. Тяжелые кулисы и падуги, угрюмая кладка стен древнего британского замка сжимали пространство, и не верилось, что в дни аренд на этой же сцене умещался ярко освещенный софитами университетский хор или целый симфонический оркестр.

Фул поднялся на пандус, прошагал по скрипучему настилу и нырнул в черный провал между холщовыми стенами. Сцена дышала, Фул всегда ощущал ее такой — живой, притаившейся, словно не люди давали ей жизнь, а наоборот — она заряжала всех работавших на ней тем напряжением, которое передавалось затем залу и на два-три часа объединяло несколько сотен людей. В дни премьер оно достигало наивысшей точки, питаясь (или питая?) нервной возбужденностью всего театрального организма. В эти вечера даже лицо буфетчицы покрывалось пятнами волнения, а рабочие и актеры сновали за кулисами вовсе как полоумные. Но заканчивалось действие, опускался занавес, а напряжение это, некое непознанное поле, не исчезало, а, немного ослабнув, оставалось над опустевшей сценой на всю ночь, до следующего спектакля, постоянно, даже на время летних гастролей, всегда.

Вчерашний спектакль тоже жил — казалось, что тени умерших неслышно скользят среди декораций, где-то над телом Корделии ломает в отчаянии свои старческие руки безутешный Лир, или прячется за порталом королевский Шут, обреченный всегда исчезать в середине действия. Кто-то бродит во тьме, спотыкаясь о деревянные откосы и путаясь в пыльных концах кулис. Они гости вчерашнего дня — сегодня другие герои заполнят своими страстями это пространство, от-

городившись от неоштукатуренных стен новыми декорациями. Меняются спектакли, персонажи, а Фул, как старый усердный слуга, прибирает дом к приходу новых хозяев.

Он может отвести в сторону совершенно неразличимую в темноте кулису, не считая шагов, безошибочно подойти к своей лестнице, уверенно протянуть руку и при выключенном свете взяться за канат нужного штанкета. Правда, по утрам, когда они приходят разбирать вечерний спектакль, Фулу всякий раз кажется, что за ночь сцена изменилась, что у нее могли вырасти стены, а колосники теперь на такой высоте, что свет тусклых фонарей на рабочих галерках не достигнет их никогда. Или, быть может, рука не встретит отполированного его предшественниками поручня, или окажется, что порталы шагнули в зал, раздавив гранитной пятой несколько кресел первого ряда... Но постепенно глаза привыкают, все становится на свои места, и возвращается уверенность и удовлетворение от привычной нехитрой работы.

Но сегодня Фул чувствовал что-то иное, это не было обычным неузнаванием — от холщовых стен древнего замка веяло непокоем и ожиданием. Необъяснимая тревога, шемящая, но сладкая, подступала к Фулу, как в забытом детстве, когда он стоял на берегу острова, подставив солнцу обветренное лицо, и деревня была далеко, а людей словно бы и вовсе не существовало в этом огромном мире, а был только он один, но не одинокий, нет — вольный и всемогущий. От чувства свободы и силы перехватывало дух — вот лодка, в ней весла, перед глазами — бесконечно запутанное в островках и заливах озеро, которое теперь все принадлежит ему. Его лодке оно откроет каждую бухточку, речку, и даже широкий, потемневший от ряби плес покорится ему, маленькому человеку. Но небо бездонно, и так же глубока отразившая редкие облака вода, и леса кругом не имеют границ, а ты так мал, что смелость твоя тебя же самого и пугает, но жуть эта волнует, как и то, не познанное еще, но предугадываемое, что щекочет по утрам в низу живота и отдается наполненными ударами крови в висках.

Сейчас, забыв за годы городской жизни запах смолы и крики чаек, Фул тоскует не о детстве своем, а о том удивительном ощущении воли и ясности, утерянном и забытом тоже.

(Что за патетика! Весь кусок сделать жёстче и выровнять. Действительность жестока, как в конце главы.)

Из дальнего угла сцены железная лестница ведет на рабочую галерку. Взявшись за поручень, Фул попытался глубоким вздохом отогнать от себя тревогу, убеждая себя, что ожидание и волнение его напрасны — что же может случиться в этом ненатуральном пространстве, среди игрушечных стен и спрятанных за ними единственно настоящих стальных тросов? Нужно просто работать, убирать всю эту путаницу, чтобы поскорее оголить невзрачный кирпичный куб сцены, а заодно освободить от алкогольной накипи, тревог и болезненных предчувствий раскалывающуюся голову.

В полной темноте Фул поднялся на второй уровень и, облокотившись на ограждение, стал ждать, когда Сомов доберется до электрощита и даст рабочий свет.

Здесь, наверху, Фул был хозяином. С первых дней работы Сомов назначил его на галерку, где Фул задержался, как видно, надолго. В его ведении была «одежда» сцены — кулисы, падуги, задники. Он поднимал на штанкетах смонтированную ребятами декорацию и регулировал высоту софитов. Работа на галерке нравилась Фулу, он чувствовал здесь свою самостоятельность, даже отстраненность от товарищей. С ними его связывали лишь стальные тросы штанкетов да редкие команды-окрики. Этой связью Фул дорожил, и самым приятным в его работе было подать нужный штанкет в самый момент команды, с опережением в несколько секунд. Длинный ряд закрепленных тормозными крюками тросов на рабочей галерке, вдоль которой приходилось метаться Фулу, тускло освещался двумя лампами в пыльных плафонах, забранных провололочной сеткой. Этого света не хватало, и только благодаря автоматической памяти Фул не спотыкался о чугунные грузы, которые всегда было лень или некогда убрать. Софиты освещали сцену, отраженный от нее свет шел к Фулу снизу, сквозь решетчатый пол галерки, создавая ощущение ненадежности. Было у Фула и свое заповедное место — под самыми колосниками, на третьей галерке. Темнота там была еще гуще, приходилось двигаться на ощупь, стирая с поручней толстый слой

постоянно оседающей пыли. По делу ему приходилось бывать там только для того, чтобы завести задник, но иногда Фул поднимался туда просто посидеть в одиночестве с парой бутылок пива из театрального буфета.

(Слишком много терминов. Читатель и так поверит, что автор работал в театре.)

Сомов мешкал. Ребята внизу освобождали от грузов концы кулис и, спотыкаясь в темноте, вполголоса материли Сомова. Фул поднял на ощупь несколько штанкетов, чтобы кулисы не мешали ребятам ходить. Со стороны электрощита послышались сдержанные ругательства главного. Электрики вчера зачем-то заперли щит на замок, а ключа в привычном месте не оказалось.

Наконец свет зажегся. Первый софит висел низко, его нужно было поднять на пару метров, чтобы не зацепить декорацией. Фул взялся было за канат, но его отвлек удивленный возглас Аркаши. Фул перегнулся через перила, чувствуя тревогу свою почти физически — в затылке, пальцах рук. Что-то в груди оборвалось и, переваливаясь, поползло вниз. Он увидел ее сразу — она лежала, свернувшись, в уголке огромного королевского ложа в центре сцены.

Голова горела, все, кроме этого ложа, тонуло во мраке. Они забыли ее здесь, когда убирали остальные тела! Нет безумного Лира, нет его старших дочерей, а ее, словно ненужную сломанную куклу, оставили, бросили одну! Но ее поза естественна, да, она безмятежно спит, положив под голову локоть и поджав под себя босые ноги! Ее черные туфельки стоят рядом на расписанном под дорожкой ковер половике. Яркий свет рабочего софита не разбудил ее, потому что ее лицо закрывают спутанные темно-русые волосы...

Ребята стояли не двигаясь и не сводя глаз с ее маленькой фигурки, такой настоящей в этом условном пространстве.

Господи! Она спит здесь, на сцене, беззащитная, забытая девочка, ей было холодно ночью, и нечем было укрыться, но — туфельки!.. Туфельки она сняла, чтобы не запачкать бутафорскую парчу обшивки! Вот она, рядом, всего в нескольких метрах, но метры эти непреодолимы, невозможно спуститься и взять ее за руку и увести... Фул осознал вдруг всю тщетность сво-

его ожидания, долгого, томительного, понял, что существует Она лишь за какой-то условной чертой, в ином мире, приближающимся иногда, но никогда не соприкасающимся с тем мирком, в котором давно уже заточил себя Фул. Он думал, что, сужая круги, приближается к Ней, но уже выскользнула из его тонких сетей и стала недосыгаемой, как крик журавля на предрассветном болоте. От внезапной слабости и предчувствия полной и невозвратимой потери на лбу его выступил холодный липкий пот.

(Высокопарно и мелодраматично. Выбросить бы весь кусок.)

Фул обессиленно зажмурился, надеясь, что видение исчезнет, что, открыв глаза, он увидел на сцене только неспешно раскачивающихся в работе ребят...

— Сомов, ... твою мать! — раздался где-то внизу хриплый голос Гурона. — Гаси свет, бугор, я, пожалуйста, прилягу.

Смысл этой фразы дошел до него не сразу, слова Гурона некоторое время висели в воздухе над сценой, прежде чем обрушиться на Фула тупым ударом. Он набрал уже воздуха в легкие, чтобы закричать, весь напрягся, изготавившись к яростному прыжку, схватке, в которой задушит, убьет Гурона в несколько секунд, но... Она уже проснулась, торопливо, но не испуганно села на краешке ложа и, непринужденно трянув подсвеченной софитом короной волос, стала обуваться. Один только раз посмотрела она на Гурона, смерив его печально-укоряющим взглядом ласковых серых глаз. Потом поднялась стремительно и независимо и, не оглядываясь, пошла к выходу.

Гурон сразу сник, он не пытался даже защищаться, а безропотно принял свое поражение, и наглая улыбка, как непрочная краска, сползла с его лица. Он засуетился, скрывая смущение, и исчез за кулисой.

А она в напряженной тишине прошла через всю сцену, маленькая и стройная, на краткий миг остановилась около стоявшего еще у щита Сомова, кончиками пальцев отстранила его и вышла в длинный театральный коридор. Взгляд Фула, выпутываясь из ее пышных волос, скользил по шелку черного длинного платья к звонким каблуккам лакированных туфель.

Шаги ее затихли, а ребята все стояли оцепенев и смотрели ей вслед через открытую дверь коридора. Над сценой чувствовалось ее недавнее присутствие — нет, не запах духов, это было бы слишком просто — как будто часть ее самой осталась дрожать в этом густом пыльном воздухе. Первым очнулся Аркаша. Он подошел к ложу и как-то особенно бережно снял с него «парчовое» покрывало.

Словно боясь, что кто-то заговорит сейчас о ней, Сомов закричал сердито и резко:

— Гурон, Сохатый! Откосы! Фул! Четвертый, восьмой — вниз, кулисы и падугу убери, концы на галерку! Снимать не будем. Софит подними, заденем.

Указания эти были излишни — каждый прекрасно знал, что ему делать, но Фул был благодарен Сомову за то, что тот не дал ребятам опомниться, не позволил зря болтать, а сразу задал хороший темп. Началась работа. Слаженно снова ли внизу Сомов, Гурон, Аркаша и нескладный длиннорукий Витька-Сохатый. Фул отцеплял крюки на канатах, поднимал и опускал занятые штанкеты. Было слышно, как вполголоса обиженно матерится Гурон. Остальные работали молча.

Мрачный и величественный (если смотреть из зала) древний замок постепенно таял, опускались на помост расписанные под кладку щиты, распаясь на составные части, и звякали под молотками железные штыри.

В горле сушило, болела голова, но Фул орудовал канатами яростно и расчетливо, как делают всякую спешную и знакомую работу. Он думал о ней. Она была здесь всю ночь. Совсем одна, в пустом театре, всю долгую ночь! Какие сны могли навеять ей эти унылые стены? Кто утешал ее в непроглядной тьме, кто нашептывал ласковые слова в этих снах? Ну почему он не знал об этом вчера вечером, почему не остался в театре, как бывало раньше не раз! Упустил миг, которого ждал, предчувствовал почти полтора года, с того самого вечера, когда после премьеры он затеял с Ольгой тот странный спор о таинственной связи между Корделией и Шутом. Он говорил тогда горячо, слишком горячо, да, конечно, возбужден был выпитым, но что-то Ольга заметила в его беспокойном пронзительном взгляде и к концу разговора стала совсем серьезной, даже испуган-

ной. Глупая! Совсем не того она испугалась... Потом, когда в костюмерную вошел Чашин, еще в костюме Эдмунда (а может, сам Эдмунд?), ее испуг сразу прошел, она смеялась и называла его Фулом. Чашин смеялся тоже, и во взгляде его мелькнуло что-то зловеще-знакомое, из прошлого, пережитого, а может быть, наоборот — предостережение о грядущей встрече? Это был заговор против Фула, и он с опаской косился на бутфорский кинжал Эдмунда-Чашина.

(Явная мания. Хочет ли автор сказать, что Фул болен?)

Ольга смеялась над ним, над его сумасшедшими речами, но он, сильно пьяный тогда, не понимал, что это всерьез, и лишь позже, встречаясь с Ольгой в коридорах, стал замечать ее странные взгляды и комически серьезные, словно к больному обращенные слова. Она делала вид, что заодно с ним, что она единственная понимает и чувствует его боль, сочувствует ему. А имя, опрометчиво данное ему тогда Ольгой, закрепилось, и по-другому его уже никто в театре не называл. Фул. Шут по-английски. Шут. Или — дурак.

— Восьмой сорвался! — чей это крик, о чем он?

Он увидел сначала метнувшегося к стене Аркашу, затем взлетевший вверх штанкет, проносящийся мимо рабочей галерки тросы, потом услышал гул падающего противовеса, грохот и скрежет металла. В голове мелькнула ясная и на удивление спокойная мысль — все, восьмой угробил. Четверть тонны ухнуло с семиметровой высоты. Только потом он вспомнил о своих руках и разжал сомкнутые вокруг каната пальцы. Кожи на ладонях почти не было — какие-то белые клочья. Руки горели. Постепенно он стал понимать, что же произошло. Аркаша махнул рукой, чтобы Фул немного опустил штанкет — неудобно было отцеплять тяжелую деревянную арку. Фул снял с каната тормозной крюк и пропустил момент, когда Аркаша отвязал декорацию. Придержаться он уже не успел — штанкет вырвался и пошел вверх. Фул до последней секунды машинально сжимал руками канат — удержаться! — но тот скользил между ладонями, сдирая кожу.

Болеть пришла не сразу. Только теперь Фул почувствовал сильное жжение, он выгнул руки перед собой ладонями вверх и смотрел на них.

— Фул, ты жив?

Он обернулся на крик. Посреди сцены стоял растерянный и перепуганный Аркаша и, задрал голову, глядел на него. Сомов уже спешил к левой стене посмотреть, что натворил сорвавшийся груз. Гурон с Сохатым застыли с тяжелым щитом в руках, забыв опустить его на пол. Фул помахал ребятам ободранными руками и виновато улыбнулся.

2. Сохатый

Когда Фул вернулся на сцену из медпункта, где деятельно-ласковая сестричка обработала его руки холодящим пенным аэрозолем и осторожно забинтовала, ребята уже закончили разборку декорации и носили в парах дощатые щиты пандуса. Худой жилистый Сомов работал с коренастым Гуроном. Они всегда держались друг друга, и хотя Сомов недолюбливал Гурона за его неприкрытое хамство, их объединяла сосредоточенность в работе. Движения Гурона были резки и стремительны, он делал все быстро и задавал темп всей компании. Сомов, как главный машинист сцены, был старшим в бригаде, но когда они работали в паре, командовал Гурон. Авторитет его объяснялся просто — на своих покатых плечах он носил такие тяжести, которые другие тащили втроем. При этом его стриженная голова опускалась низко на грудь, и он в самом деле становился похож на тех охотников за скальпами, которые с детства были знакомы каждому по романам Фенимора Купера.

Стараясь не отставать, носили щиты Аркаша с Сохатым. Работать вместе им было неудобно — слишком разнился их рост. В нескладном Витьке было под два метра, руки его как-то странно болтались, а шаги были широкими, неуверенными, как у матроса на берегу. Он стеснялся своего роста и сутулился, глаза его всегда были опущены. Недавно Сохатому исполнилось тридцать, но он казался гораздо старше, и рядом с ним Аркаша выглядел совсем мальчиком. У Аркаши и лицо было совсем детское, а может быть, даже и женское чуточку — только нежный пушок на подбородке и верхней губе придавал его лицу некоторую определенность. Но Аркашины глаза были словно на несколько десятков лет старше его са-

мого. Не было в них ни бешеной Фуловой тоски, ни растерянности Сохатого, а глядели они просто и мудро. В его одинокой фигуре, в плавных и точных движениях Фул с волнением и боязнью ошибиться угадывал душевную гармонию, завидовать которой или желать ее бессмысленно, потому что гармония эта у каждой души своя. Одних, счастливых, она не покидает с рождения, другие же, потеряв ее в детстве, ищут потом всю жизнь, мучаясь и томясь.

Фул сидел в стороне, не зная, куда деть свои забинтованные руки, и смотрел на искаженные похмельем лица монтировщиков. Он думал о том, как должно быть тяжело Аркаше среди ушибленных, покалеченных забулдыг, психованных и озлобленных, как Гурон, или раздавленных, истеричных, как Витька-Сохатый. Да и сам он, опустошенный, ни к чему не привязанный, для Аркаши так же далек, как и другие. Все они — нищие (духом?), и только этим похожи друг на друга. Все сокровища их — Smoke on the water, ни поделиться ни с кем, ни согреть чужую душу. У Сохатого — это воспоминания, у Аркаши — флейта. Про Гурона вообще трудно сказать, что за сила держит его на плаву, а у Фула — только призрачная Корделия, от которой лишь мучение и неизбывная тоска.

(Красиво и поэтично, особенно если не забывать, что эта женщина — девушка лучшего друга автора. И что интересно: ни слова о Лехе!)

Когда сцена была полностью освобождена и черный половик скручен в длинный тяжелый рулон, ребята шумно вывалились в «предбанник», служебный холл перед сценой. Фул подошел к ним и сел рядом на кожаный диван.

— Как твои грабли? — спросил Сомов.

Фул улыбнулся в ответ виновато и кивнул: все в порядке.

— Ну что, мужики, по пиву? — с натужной веселостью предложил Сохатый.

Гурон одобряюще хмыкнул, вытирая со лба обильный пот. Хорошо пропотеть с похмелья — уходит тошнота, даже головная боль отпускает немного. Таскать декорации с утра тяжело, но потом легчает, вся дрянь из тела впитывается вместе с потом в рубашку, и только сердце стучит как угорелое.

— Теперь можно и пивка, твою мать, — обронил Гурон, и это «теперь» не случайно — сразу с утра нельзя, ослабнешь совсем, работать не сможешь.

— Ишь, хронь губу раскатала! — усмехнулся Сомов. — Да кто ж вам даст? Нина и меня уже гнать стала. Может, Аркаша пойдет? Сколько у тебя на лицево?

— У меня наличные. Я ж аппарат вчера... — Сохатый замялся, и улыбка его стала какой-то затравленной. — Осталось рублей пять.

— Ты не шутишь, Соха? — вскинулся Гурон. — Пошли, пошли, мужики. Нинка-то не ушла еще, твою мать...

Не дожидаясь ответа, он сбежал по короткой лесенке в фойе и быстрым шагом направился к стеклянным дверям буфета. Остальные, привычно посмеиваясь над какими-то несуразными рассказами Витьки, потянулись вслед за Гуроном. Сохатый всю старался казаться веселым — наверное, от неловкости за вчерашнее, когда он пытался запустить в Гурона стулом, размазывая при этом по щекам слезы и сопли. Гурон никогда не щадил Витьку, не верил, что тот был женат, что работал в фотоателье за триста рублей и имел собственную квартиру. Вчера повод подкололоть был у Гурона серьезный — Сохатый спустил за сотню свой почти новый дорогостоящий «Киев», какой же он после этого фотограф. Другие жалели Витьку — все человек потерял, но в бичах числиться не хочет — что ж, может, и поднимется еще, сладит со своей болью.

Когда подошли ребята, Гурон уже всю распоряжался в пустом буфете — носил от стойки к угловому столику бутылки и резал списанную засохшую селедку, которую Нина держала специально для монтировщиков. И надо же было кому-то такое придумать — завезти в театральный буфет прозаическую беломорку, которую и представить-то невозможно среди шоколадных конфет, изящных пирожных и марокканских апельсинов.

— Виктор, ты, что ль, платить-то будешь? — крикнула Нина через зал.

Сохатый заулыбался гордо, как в день полочки, и понес к стойке зажатые в кулаке мятые рубли и мелочь.

— Сколько?

— Сыпь все. Я тебе перерасчет сделаю, — усмехнулась Нина.

После пива перебрались в 9-ю комнату, на

свою территорию, куда даже завпост Вася входил, только предварительно постучав, — не хотел лишней раз вести бесполезные беседы, потому и давал ребятам время спрятать под стол бутылку. Гурон ушел в надежде на более серьезное угощение — кто-то просил помочь с переездом. Без него ребята становились мягче, исчезала нарочитая грубость, никто не подначивал Сохатого. Сели за кинга, закурили. Фул курил сегодня первую сигарету. Он обычно старался потерпеть до пива — не таким гадким казался табачный дым.

Кинг шел скучновато — играли не на интерес, денег ни у кого не было, а кредит в буфете был до полочки закрыт. Пивное облегчение быстро проходило. После первой партии Сомов, как старший, принял решение: сдать посуду. Аркаша, вечный голец, быстро пересчитал бутылки и объявил итог:

— Четыре шестьдесят.

— О'кей! Если не будет по четыре сорок две, возвращайся. Возьмем у Ольги рупь — на «пшенку» хватит, да еще на пирожок останется, — прикинул Сомов.

Аркаша с двумя сумками «пушнины» побежал в магазин, а Сомов собрался лезть на колосники, поглядеть, что натворил там восьмой штанкет. Фул вышел следом за ним в коридор.

— Скажи, Сомов, ты ее знаешь? — тихо спросил он, прикрывая за собой дверь и удерживая Сомова за локоть.

Тот оторопело уставился на Фула:

— Ты о ком говоришь-то?

— Да утром, на сцене — кто она?

— Кто на сцене, когда? — не понимал Сомов.

— Да сегодня же! Девушка такая грустная, подошла еще к тебе?

— Какая девушка?! — Сомов отстранился и освободил локоть. — Ты чего, Фул, до розовой феи допился? Ну даешь!

Фул понял. Опять! Значит, только он видел, снова бред наяву. Но почему она к Сомову подошла? Что это, знак какой-то? Или показалось ему?

(Смешно, помню прекрасно этот случай. Она работала тогда помрежем, ее роман с Лехой только начинался. Она осталась в этот вечер спать на сцене после вечеринки в Доме актера, не было сил тащиться домой, ноги не держали. Я пытался ее растолкать, да без толку.)

А Гурон — кричал он или нет? Но больше спрашивать Фул не посмел. Он смотрел в спину удаляющемуся Сомову и пытался до мельчайших деталей восстановить в памяти утренний эпизод. Картина получалась совершенно нелогичная — ведь и на сцене все молчали, и после никто не вспомнил! Фул толкнул плечом дверь и вошел в комнату.

Сохатый глядел в окно на змеящиеся по стеклу струйки дождя. Он не повернулся к вошедшему Фулу, и тот молча сел в заскрипевшее под ним кожаное кресло с продранной обивкой. Через минуту Витька, не оборачиваясь, тихо сказал:

— Паля, а почему ты с женой не живешь? У тебя ведь, кажется, и ребенок есть.

Фул отвык уже от своего настоящего имени, поэтому растерялся сперва, но тут же, уловив суть вопроса, съезжился, замкнулся в себе:

— Дочка. Четвертый год уже.

Фул боялся таких разговоров. Сколько думано-передумано об этом, и с какой стороны ни глянь — все нехорошо выходит. Дочка... Сколько уже не видел ее — месяц, два? Или больше? Гурону бы он ответил: да иди ты, какое твое дело, но Сохатому так не скажешь — он чужую боль чувствует. Фул угрюмо молчал.

— Да ладно, Паль, это я так. Таня вдруг вспомнилась, как она дождь любила, все гулять меня без зонтика звала. — Сохатый улыбнулся потерянно, и глаза его заблестели от навернувшихся слез. — А знаешь, ведь моя дочка только два дня после мамы прожила, — и снова Витька отвернулся к окну, замолчал накрепко и забыл, судя по всему, о сидящем рядом Фуле.

— Витек, — тронул его за плечо Фул. — Давай с тобой на рыбалку махнем. В понедельник, а? Возьмем на вторник отгул, заночуем у озера? Костерок, уха свежая?

— Не будет этого, — вздохнул Сохатый и неожиданно добавил: — Добрый ты, Паля.

Фул усмехнулся. Он хотел было возразить, но Сохатый уже продолжал, да и разочаровывать его не хотелось.

— Трудно без злости жить. У меня была злость, пока Таня не умерла, а там как рукой сняло — больно, а зла нет ни на что. А Гурона я понять могу — ведь не сволочь он, а так, покалеченный. Но ему легче, его в жизни злость спасает.

— Верно, Витек, Сомов тоже — достанул его, тот

же Вася, он так рывкнуть может, что у того и челюсть отвалится, — подхватил Фул, радуясь повороту темы. — Сомов настоящий, он если и собачится с кем, так по праву, дело знает.

— Да, он здесь один на своем месте работает. Ему бы завпостом быть, так образования нет. А Вася что — так, крикун, — просветлел и Сохатый.

— Василий у нас суровый начальник. Вчера подходит ко мне: «Ты как половик прибиваешь?» — и давай показывать, через каждые пять сантиметров гвозди бить. Я ему говорю: «Вася, не тебе ведь потом этот половик отдирать, шел бы лучше в столлярку, а то как бы там без тебя не напортачили». И знаешь что он сказал? — Фул усмехнулся. — Да, говорит, надо сходить, а то вправду что-нибудь не так сделают. Каково? Семеныч тридцать лет в театре, любую декорацию по эскизу делает. А теперь над ним Вася есть — здесь отпили, там прибай.

— Что, все Вася вам нехорош? — перебил Фула вошедший Сомов. — Он хоть и чайник, но тоже прав бывает. Просто думает парень, что мы — хронь, бестолковый народ, вот и руководит. Ничего, поработает — поймет. Закурить дай, Фул.

— Садись, отравляйся. Что там со штанкетом? — спросил Фул, протягивая Сомову мятую пачку. Он старался вести себя как можно естественней, чтобы забылся скорее странный разговор в коридоре.

— Варить придется, блоки покорежило. Завтра некогда будет, сцена занята весь день, значит, во вторник. Ну, хронь похмельная, задал ты мне работенку! — почти восхищенно воскликнул Сомов и откинулся в кресле.

В коридоре раздались торопливые шаги, дверь распахнулась, и в комнату ввалился мокрый и продрогший Аркаша.

— Ты где это так вымок-то, алконавт? — спросил Сомов.

— В окно посмотри, — встряхивая куртку, ответил Аркаша.

— Принес что?

— Там, в портфеле. Давай скорее, холодно.

К обеду неожиданно налетевший теплый ветер разогнал тучи, обнажив белесое октябрьское небо, и так же внезапно затих. На улицах стало душно, как в июле, и люди распахивали свои плащи и куртки. Влажный, но еще свежий после дождя воздух дрожал над лужами настоящим летним маревом.

(Несколько странное описание — летний день в октябре? Натянутый символизм.)

Фул сидел в столовой за крайним столиком у дверей и смотрел на улицу. Ветерок из приоткрытого окна колыхал легкую капроновую занавеску. Фул перевел взгляд на голубую поверхность стола. Пластик столешницы был исцарапан, на ее торце кто-то вырезал ножом свое имя. Яичница давно остыла, и Фул машинально ковырял ее гнутой алюминиевой вилкой. Есть не хотелось. Только что ушедший Витька-Сохатый пообедал на зависть плотно — съел и первое, и второе, и даже стакан компота выпил. Кутили за счет Ольги — все-таки, уходя из театра, Фул отважился попросить у нее трояк, чтобы хоть чем-то подкрепить измученный организм.

За обедом, размякнув от принятого полстакана водки, Сохатый убеждал Фула в преимуществах семейной жизни. Об умершей жене он помнил только хорошее. А чем, собственно, самого Фула жена обидела? Все же было нормально, никаких причин для раздора — Фул даже не уходил от нее, просто дорогу домой забыл. Несколько недель уже не появлялся. Работа, пьянка, похмелье, поиски денег, работа — так и летели незаметно дни, никчемные, похожие друг на друга. Вот только тоска все росла в душе, боль от своей ненужности, горечь от сознания того, что и семья ему оказалась не нужна. Не было никаких решений, просто с каждым днем возвращение становилось все труднее. А ведь за чем-то четыре года назад настаивал, чтобы Ксения непременно рожала, и убежден был, что прав, и ребенка ждал, и радовался беспомощной дочке своей. Значит — обманывал себя, опоры искал, прочного тыла. Ведь тогда уже догадывался, что не любит Ксению. Ну а теперь что? Ладно жена, а вот с дочкой-то как, с неразумным существом? Ее-то вины нет в его метаниях. Что же, в дочке опоры искать? А ей кто опорой будет? Любит — не любит... Живут же другие без любви. Фантазии все вроде как ждет он чего-то, судьбу свою ищет. Чувшь это все, смирились давно пора — не удалась жизнь, ни дела себе, ни любви настоящей не нашел, — вот и живи как все, зарабатывай, корми семью, на рыбалку по выходным... Как все, а?

Бросив вилку, Фул выгреб из карманов послед-

нюю мелочь и подошел к стойке за пивом. Пиво было старое, на дне бутылки ясно различался мутный осадок. Сделав несколько глотков, он поднялся и вышел из столовой. На голубом пластике стола остались тарелка с холодной яичницей и две пивные бутылки — пустая и початая.

На улице было тихо и солнечно — один из последних октябрьских дней, когда в промежутке между ветрами и ливнями оголившийся уже город вдруг наполнился заблудившимся где-то над Балтикой теплом и разомлел на солнце, забыв на время о скорых и неотвратимых снегопадах.

В центре было оживленно, но не шумно, как всегда в субботу после полудня. Спешили в основном приезжие — немногочисленные в это время года туристы и прикатившие в город за покупками деревенские. Фул сел на уже подсохшую скамью напротив столовой и попытался закурить. Сигарета казалась кислой, как старое пиво. Фул бросил окурочек и поплелся по улице — без мысли, без цели. Свернув на старый бульвар, он вскоре заметил, что идет за высокой женщиной. Что-то вовсе не чувственное подсознательно влекло Фула за ней. Она шла легко и быстро, словно парила над асфальтом, и Фул плыл за ней в шлейфе весеннего аромата. Конечно же, это были только духи, но это он понял не сразу — будто майский ветерок нес его по увядшему бульвару.

Женщина привела Фула на автобусную остановку. Когда она повернулась, Фул увидел, что она молода и красива. Это было приятно. Народу накопилось много, и когда, выплеснув лужу на тротуар, подкатил наконец переполненный «Икарус», Фул в толчее потерял девушку из виду. Но до вечернего спектакля было еще много времени, и он втиснулся в автобус.

В горячем пол-летнему салоне было невыносимо душно. Рубашка под курткой быстро взмокла и прилипла к телу. В живот упиралась горячей грудью маленькая тучная женщина. На кольцевой Фул машинально вышел и остался в задумчивости стоять на панели. Когда автобус тронулся, он заметил в заднем окне лицо «своей» девушки. Фул зачем-то помахал ей рукой и не торопясь побрел по песчаной дорожке в глубь квартала. В маленьких лужичках мокли грязные березовые листья. Одинаковые блочные пятиэтажки и нестройные ряды «диких» гаражей казались очень

знакомыми, но Фул не задерживал на этом внимание. Сознание его существовало словно бы отдельно от чувств, и от этого даже земля под ногами казалась нереальной. Голова уже не болела, но утреннее видение не давало покоя, холодный зародыш страха увеличивался как опухоль. Как это Сомов сказал — розовая фея?

Миновав два удивительно знакомых двора, он зашел в подъезд и, только поднявшись на площадку второго этажа, понял, куда его занесло. Как видно, крепко засели в нем сентиментальные рассказы Сохатого. Фул постоял несколько минут в нерешительности. Хотелось вернуться, убежать, но в двери был глазок, и он подумал, что его могли заметить. И вдруг совсем неожиданно он почувствовал, что за этой простой крашеной дверью — та самая Витькина мечта, родное и прощающее, быть может, спасительное для него. Фул надавил на кнопку. Послышались шаги, при звуке которых по спине пробежал трусливый холодок, и дверь открылась.

3. Ксения

Ксения смотрела почему-то на его брюки. Он опустил глаза и увидел пыльные пятна под вздутыми коленками. Фул виновато улыбнулся и взглянул на Ксению. Она сделала шаг в сторону, молча освобождая Фулу проход. Ему не верилось — движения Ксении были мягки и усталы, но раздражения не было. Он выдал из себя тихое «здравствуй», но прикоснуться к жене не посмел.

(Весь последующий эпизод весьма натуралистичен. Квартира описана подробно. Я и сам не раз сидел в щели между столом и холодильником.)

Они прошли на кухню, Фул втиснулся в узенький промежуток между кухонным столом и холодильником. Там стояла табуретка. Вторая была задвинута под стол, но вытаскивать ее оттуда и предлагать жене — это было бы слишком.

Ксения открыла навесной шкафчик и поставила на стол керамическую бутылку с рижским бальзамом. Фул испуганно замотал головой:

— Что ты, зачем... Не надо, Ксения.

— Ладно, ладно. Я же вижу, что ты болен. Я тоже выпью.

Она наполнила граненые водочные стопки черной жидкостью и села напротив Фула.

— Я не думал, что ты так меня встретишь, — сказал он.

— А что, следовало спустить тебя с лестницы? — усмехнулась Ксения, поднимая свою стопку.

— Ксения...

— Не надо. Не говори ничего. Выпьем.

Она залпом опустошила рюмку. Фул смотрел на ее шею, когда она глотала. Свою порцию он выпил медленно, с заметным усилием.

— Ну вот, теперь тебе станет лучше, и мы поговорим.

Она достала с полки сигареты — какие-то дорогие, непривычные для Фула — закурила и стала смотреть в окно. Ветви голого тополя прижимались к самому стеклу. В просветах был виден двор, на песке играли двое детей — мальчик и девочка. Мальчику было лет пять, девочке три с половиной. Ее звали Катя. Курточка у нее задралась, и были видны запачканные песком штанишки. Дети строили город.

— Ты не боишься, что Катя куда-нибудь убежит? — спросил Фул и сам испугался своего вопроса.

Но Ксения ответила спокойно, словно не заметив подвернувшейся возможности упрекнуть:

— Нет, она уже с лета сама гуляет.

— Ты обрезала волосы?..

— Да. Так хуже?

— Что ты, очень современно.

— Мне нравится. Еще?

Фул кивнул. Ксения наполнила стопки и подняла свою:

— Ты насовсем?

Фул вздрогнул. Вопрос был неожидан и точен, как выстрел. Он поднял глаза и встретился с ее напряженным взглядом. Времени размышлять не было. Разговор с Сохатым еще не стерся из памяти, он подталкивал Фула к единственно возможному сейчас ответу. Желание покоя, нормальной размеренной жизни снова овладело им. *Но было еще что-то, сильнее и настойчивее этих мыслей — ощущение доступной близости притягательной женской красоты, вновь посвежевшей для него, без которой измаялся уже за эти недели и месяцы.* С минуту он молча глядел на нее, потом выдал с заметным усилием:

— Да.

Ксения встала растерянно и резко. Опрокинулась табуретка. Они вместе бросились поднимать ее и столкнулись головами. Табуретка осталась на полу. Они выпрямились и замерли друг против друга. Фул неловко поцеловал ее в щеку, *чувствуя нарастающее, уже откровенное желание. И он принял его как высокую истину, чистую, мудрую в простоте своей.* Фул нагнулся за табуреткой и поставил ее у стола.

— Садись, Ксения.

Они выпили еще, глядя друг другу в глаза. Поставив пустую стопку на стол, она протянула свои руки к Фулу и положила перед ним ладонями вверх. Он накрыл их своими. Так они сидели и молчали. Фул не думал. Он слушал пальцами движение крови в подрагивающих руках жены. Потом Ксения встала. Она посмотрела в окно и прошептала:

— Катя будет гулять еще не меньше часа.

Фул растерялся. Он смотрел на нее с ожиданием, но молчал.

(Ты никогда не понимал Элли. Для тебя она была лишь сексуальным объектом, и ты был уверен, что и она чувствует так же.)

Она взяла его за руку и сказала просто:

— Пойдем.

В комнате все было по-прежнему. На разложенном диване белела скомканная постель. Они сели на краешек. Правым плечом Фул чувствовал ее тепло. Он сидел на простыне, на которой сегодня спала она. Ее запах заполнял комнату. Нужно быть идиотом, чтобы усомниться, отказать, искать убегающий призрак, ловить журавля в небе! Настоящая жизнь — густая, ясная — вот она, пряным ароматом плова просачивается из кухни, смешиваясь с запахом любимой женщины. Любимой?.. Ну конечно же! Вот же она — та, которую искал так далеко, мучая себя и ее, вот она — и ведь мог совсем потерять, заплутать и не вернуться, и не было бы этого солнечного осеннего дня, этого вкуса бальзама во рту и Ксении, такой близкой, родной, с ее большой родинкой на животе, о которой так хорошо знать!

— Ксюша...

— Не говори ничего.

— Я боялся...

— Не надо! Я знаю, ты зашел случайно, но я рада.

— Ты была одна?
 — Зачем?.. — она засмеялась и притянула его к себе.

(Диалог прямолинеен, реакции примитивны. Уж не б... ли персонаж по имени Ксения?)

...Они лежали, отбросив одеяло, и смотрели в потолок. Там играли блики отраженных большой лужей солнечных лучей. Подушка была на полу, простыня наполовину съехала с дивана. Их тела наискосок прочерчивала тень от оконной рамы. Из открытой форточки доносились детские голоса. Дыхание улицы было уже предвечерним. Фул слушал настенные часы — свадебный подарок Лехи. Тук-тук-тук... В этом стуке чудилось что-то тревожно-торопящее, как будто часы отсчитывали последние секунды перед отправлением поезда. Хотелось вскочить, одеться, куда-то бежать, непременно что-нибудь сделать, чтобы избавиться от этого беспокойства. Холодная поземка опустошенности выметала из Фула остатки тепла, возвращая в сердце одиночество и обреченность. Уже ясно видя перед собой знакомую пустынную даль, Фул прошептал с отчаяньем:

— Не отпускай меня, Ксения...

Он повернул голову и увидел отражение своей тревоги в ее глазах. Испугавшись, что она прочтет в его взгляде больше, чем он сам успел осознать, Фул опустил веки и почувствовал на своем лице ее губы, чужие губы.

— Тебя Катюша так ждала... Каждое утро спрашивала, где папа.

— Ксения...

— Что, милый?

— Все хорошо.

В дверь постучали. Ксения перепуганно вскочила и стала торопливо искать халат. Он вытащил его из-под скомканной простыни. Застегиваясь на ходу, она побежала открывать, Фул встал, прикрыл дверь в комнату и стал одеваться. За дверью Катя о чем-то взахлеб рассказывала маме. Фул вышел в коридор.

— Папочка! — дочка повисла на нем, подогнув ножки. Он поднял ее на руки и уткнулся лицом в испачканную курточку. Катя трепала его за волосы и счастливо смеялась. Фулу стало не по себе. Суставы и мышцы словно закованели, в руках не

было ласки, улыбка не получалась. Хорошо, что жена не видела его лица.

— Ну, отпусти папу. Папа ездил далеко-далеко, он устал. Давай напоим его чаем, — сказала она.

За чаем рассказывала Катя, Фул с Ксенией слушали. Вечернее солнце стелило свои лучи почти параллельно земле, и длинные тени от чашек обрывались на краю стола. Ксения разлила по стопкам остатки бальзама, и они выпили.

Зазвонил телефон. Ксения выбежала в прихожую. Фул прислушался. Разговор был очень коротким.

— Да. А, это ты... Нет... Нет, не нужно... Я ухажу... Да... Позвоню, позвоню... Ну, завтра... Пока.

Она вернулась на кухню. Фул стоял у окна спиной к двери. Он медленно повернулся и сказал с неожиданным для самого облегчением:

— Отчего же. Можно и сегодня.

Ксения метнулась к нему:

— Что ты! Из-за какого-то звонка?!

Фул спокойно, но решительно отстранил ее и шагнул в коридор. У дверей он обернулся и сказал чужим от волнения голосом:

— Нет, не из-за звонка. Зря я приходил, Ксения. Извини. Я знаю — ты хочешь, чтобы я остался. Но я не могу. *Все это игра, в которой постоянно нужно делать вид, что чего-то не замечаешь, не понимаешь. Нужно обманывать себя. Я попытался давеча. Ничего не вышло. Я был прав, когда исчез. Прости. Тебе следовало спустить меня с лестницы. Просто у меня уже два месяца не было женщины.*

Ему было очень трудно все это сказать. Он не хотел оставлять себе никакой надежды. Каждое слово приходилось выталкивать с силой. Фул повернул рукоятку замка и вышел на лестницу.

— Прости...

Дверь за ним осталась открытой.

4. Чердак

Тяжело подниматься по крутой лестнице старого дома.

Третий этаж, четвертый, пятый. Последние девять ступеней. За ржавой железной дверью — сухой и плотный сумрак чердака. Гурон с Аркашей проходил вперед, Фул тянет на себя скрипящую на несмазанных петлях дверь, лучик света в проеме становится все уже и наконец гаснет. Под но-

гами шуршит шлак. Фул уже порядком пьян и чувствует себя словно бы распавшимся надвое — он видит себя со стороны, но влиять на свои слова и действия не может. Он знает, что по центру чердака, под самым коньком крыши, настелены доски, но хруст под башмаками чем-то приятен ему, и он ступает осторожно по жесткой сыпучей россыпи, согнувшись, чтобы не удариться головой о низкие стропила.

Впереди плотную темноту прорезает едва различимый тусклый луч, падающий слева под острым углом. Справа остается витая железная лестница. Она ведёт на башню, торчащую из крыши старого дома, словно чужеродная опухоль, заключившая в себе прихоть безвестного архитектора. Много раз Фул пил там, наверху, любуясь ставшим уже родным городом. Из окон с остатками выбитых стекол видны озеро, прибрежный парк и пустынные причалы пассажирского порта. А вверх по склонам холмов взбегают улицы города, тающего вдаль в облаке желто-серого смога. Но сегодня они не пойдут на башню — опять разыгрался ветер, он грохочет в оторванных листах кровельной жести и швыряет на крышу пригоршни жухлой листвы из почерневшего парка.

Глаза начинают привыкать к темноте, и Фул различает впереди фигуры Аркаши и Гурона, сидящих на ящиках перед слуховым оконцем. Они смотрят в его сторону и молчат. Пахнет голубиным пометом, которым густо заляпаны стропила и поперечные балки.

Фул садится на замотанную войлоком трубу отопления и выкладывает на оставшийся свободным ящик небольшой газетный сверток. Он медленно разворачивает его, расправляет мятую бумагу и убирает руки. Отстранившись, Фул смотрит на ящик. Два помидора, плавленый сырок и маленькая булочка смотрятся на фоне чердачной грязи роскошным голландским натюрмортом. Хрустальные фужеры, ломтики лимонов, сбитая на угол белоснежная скатерть, свисающая со стола голова диковинной птицы...

От стука Фул вздрагивает. Это Гурон, не нарушая молчания, достал из-за пазухи увесистый штоф «Пшеничной» и неосторожно поставил его на ящик. Водка в бутылке еще плещется, со дна поднимаются маленькие пузырьки воздуха.

— Упадет, — коротко роняет Аркаша и ставит бутылку на шлак, прислонив ее к шаткому ящику.

Когда он наклоняется, лицо его, освещенное неверным сумеречным светом, снова кажется Фулу женским — припухлые губы, тонкий нос, мягкие очертания бледных щёк.

(Мотив повторяется. Интерес кажется подозрительным. Есть ли в этом какая-то двусмысленность?)

Но на верхней губе золотятся робкие юношеские усики, и впечатление рассеивается. Аркаша ловит взгляд Фула и, угадывая его значение, улыбается понимающе и просто. Фул смущается, он чувствует себя глупым мальчишкой, вставившим в беседу старших неуместное слово. Аркаша отводит глаза. Из кармана его черного замшевого пиджака появляется «стеганый», Аркаша протирает стакан обрывком газеты и протягивает Гурону:

— Наливай.

Короткие сильные пальцы Гурона скручивают со штофа пробку, и в какофонии ветра, словно соло на электрооргане, раздаётся унылое бульканье. Аркаша слушает единственный организованный звук среди монотонных жалоб октябрьского вечера и вздыхает. Сегодня они пропивают его флейту.

Фул пьет первым. Полстакана «пшенки» обжигает гортань, спирает дыхание, на глазах выступают слезы, но Фул не трогает нехитрой закуски, а лишь резко выдохнув спиртные пары, лезет в карман за куревом.

После первого круга окружающие детали отчетливее выступают из темноты, лица становятся ближе и яснее. Гурон стягивает с головы кепку и удовлетворенно покашливает в кулак. Его непропорционально маленькая голова при этом подрагивает и выглядит совсем детской из-за бесцветных коротко остриженных волос. Но Гурон поднимает лицо, и контраст между этой аккуратной головкой и выражением глаз вызывает оцепенелый испуг. Фул за все полгода знакомства не может привыкнуть к внезапным переменам в заматерелом лице Гурона. Теперь его блуждающая ухмылка делает застолье неудобным и жутковатым. Но вскоре водка сглаживает возникшее напряжение, и Фул, вытягивая перед собой ноги, произносит:

— Хорошо.

Аркаша поднимает глаза и смотрит на Фула

удивленно и укоризненно, словно спрашивая, что может быть хорошего в том, что его чудесный инструмент превратился в девять кружек пива и бутылку водки четвертого разлива, рот Гурона ползет вправо вверх, он готов вот-вот произнести свою многозначную «...мать», наполненную сарказмом, презрением и уничижительным безразличием.

После второй настроение у Фула резко меняется. Мысли и эмоции, просясь наружу, начинают путаться, руки приходят в движение, и Фул начинает возбужденно говорить:

— Я на днях в парке очнулся, гляжу — будка бетонная торчит. То ли шахта вентиляционная, то ли что — бомбоубежище там, на горе. Сбоку дырка в ней, решетка выломана. Хотел я туда поссать, заглянул — а там бич спит, и матрац откуда-то приволок, устроился. Видно, не первую ночь там. Откуда он такой, почему места себе не нашел, брат ведь наш! Так мне стало хреново, хоть вой... Не стал бича будить — испугается еще, за громилу или за сержанта примет. Ночь холодная, я замерз совсем, а тот спит себе. Может, там труба какая горячая или еще что. Я тогда в театр через окно влез, там автобус Сашкин стоит, с автобуса. Чуть шею не свернул. Лег на диван, а спать не могу — мы ведь такие же, но у нас хоть крыша есть, да и вместе вроде, а они?..

Фул оборачивается, в глазах его слезы. Он чувствует мучительный ком в горле, закуривает и, понизив голос, пряча свое истерическое почти состояние, говорит еще:

— Я вот думаю — пьем вместе, деньги вроде как общие, а друг от друга далеко, каждый сам по себе. Гурон злой на весь свет, Аркаша все флейту свою берег, Соха — напьется и плачет. Антон — старый уже, а вот с нами, сопляками, крутится. Потому что один. Он ведь и живет, считай, в своей радиорубке. С ним страшнее — помрет скоро, ждать нечего. Он мне сам говорил — цирроз. А вот смеется, анекдоты травит. Вперед страшно заглядывать...

Молчат. Даже Гурон свою язвительную «...мать» не вставил. Фул встает, выпрямляется во весь рост и, с тоскою глядя в незастекленное оконце, продолжает:

— Вот ты, Гурон, до ЛТП шофером был, жена у тебя где-то, сын. Сколько ему, четыре? Пять? Сам не помнишь... Что тебя в театр занесло?

Один ты, Гурон, на всем свете один, вот и нашел таких же, вот и злишься. Ну ладно, тебе тридцать скоро, а вот Аркаше через пару недель только в ряды идти. Он-то как? Аркаша! Ты училище свое бросил, флейту твою мы сегодня пропили. А родители твои — словно и нет их вовсе, чужие они тебе. Почему так? И ты один остался... Уйдешь в армию, забудем мы тебя, и Ленка твоя забудет. Или вот Сохатый. Фотограф вроде, спец, профессионал. Жена у него умерла, дочка. Вы-то хоть знали? Жена красавица была, я фотографию видел. Ты ему, Гурон, нос разбил, а он после плакал, детина двухметровый. Зачем ты так? Он ведь тоже один, старики далеко, заблудился мужик... Что за сила нас таких вместе сводит? Вот и Сомов...

(Жалостное обвинительное хныканье. Попахивает затхлой монастырской кельей. Красноречие ханжи.)

...молча, только один усмехается нехорошо, а другой смотрит как-то странно на бутылку и пальцы ломает. Фул ходит вокруг них и говорит, говорит, размахивая длинными непослушными руками. Был у него товарищ в театре, на автобусе работал. В прямом дыхании степей спасения искал. Нет уже Сашки, а Фул все еще его именем называет театральный «пазик». Летом взяли парня с палью. Паль — курево: анаша, гашиш. Фул в этом не очень разбирается. Сидит теперь Сашка, письма в театр пишет. Был бы дом у него — домой бы писал, да нету дома-то, потерялся Сашка, как ребенок на вокзале.

(Красиво, но только упомянутый Саша был наркоторилером и продавал анашу школьникам. В том числе на вокзале.)

Фул замолкает устало, садится на трубу и опускает лицо в замотанные обтрепавшимися уже бинтами ладони. Из слухового окошка падает тусклый свет на его жидкие русые волосы. Он боится поднять глаза на притихших своих слушателей, чувствуя тяжелое марево зависшей над чердачными балками тоски.

Гурон коротко матерится, словно тряхивая с себя опутавшую было паутину, поднимает перед глазами бутылку — смотрит, сколько осталось.

— По стеганому на спину, и вся на круг влезет, — хрипит он.

— Не надо по полному, Аркаша молодой еще, — возражает Фул неуверенно и смотрит на сжавшегося в комок светловолосого ангела. Но тот кивает Гурону и тихо шепчет:

— Давай. Полседьмого уже. Мне сегодня спектакль проводить.

Фул больше не спорит, принимает от Гурона наполненный до ободка стакан и несмело подносит его к губам. Водка идет на удивление легко, только под конец не хватает воздуха, и глотки становятся натужными, частыми. Отдышавшись, Фул съедает помидор и, пошатываясь, направляется к ведущей на башню винтовой лестнице.

— Через край пошла? — безучастно спрашивает Гурон и протягивает стакан Аркаше.

Фул не отвечает, он уходит в густой сумрак, и Гурон с Аркашей слышат металлический стук подкованных рабочих башмаков Фула по ржавым ступенькам и верещание петель тяжелого люка.

Фул выходит на площадку башенки, отделенную железными перилами от глубокого черного двора с двумя красными глазками автомобильных стоп-огней на дне. В доме напротив зажигается свет в одном из окон пятого этажа.

Сквозь легкую кружевную гардину он видит входящую в комнату женщину. Она молода, пышные темно-русые волосы распущены. На какое-то мгновение она застывает посреди комнаты, затем, словно почувствовав его взгляд, быстро подходит к окну, всматривается в темноту и откидывает волосы назад. Ее острые белые локти взлетают и замирают на миг. В ее стремительных движениях — беспокойное, напряженное ожидание. Фулу кажется, что он различает ее лицо. Плотны сжаты тонкие губы, в ласковых серых глазах — печаль и надежда, а на щеках искрятся в капельках нежарких слез отраженные луны.

Фул чувствует тонкую дрожашую ниточку, протянувшуюся через черный провал двора, и застывает, боясь неосторожным движением порвать ее. Не отрывая глаз от освещенного окна, Фул медленно перелезает через перила балкона, лицо женщины приближается, он видит маленький рубчик над ее левой бровью, слышит дыхание и стук часов в комнате. Ажурная занавеска легко касается его лба, вздувается, сквозняк

распахивает дверь в коридор, Фул закрывает форточку и робко касается ее волос.

— Корделия...

(Что за странное имя для Лиды! Да ладно — символ устойчивее действительности, за него легче ухватиться...)

5. Восьмой сорвался

... Волнистые русые волосы жгут почему-то вкружку, ее лицо, всего мгновение назад такое близкое, стремительно уносится вверх, в темноту. Боль в ладонях нарастает. Я слышу грохот и скрежет мнущегося металла.

— Восьмой сорвался! — это крик растерянного Аркаши, он стоит внизу, на сцене, и, запрокинув голову, смотрит на колосники.

Я тоже поднимаю глаза и вижу над головой раскачивающийся штанкет и обрывки тросов на нем. Я поднимаю к лицу нестерпимо горящие руки и не понимаю, почему кожа на ладонях свисает белыми клочьями.

— Ты жив, Фул? — доносится до меня Аркашин голос.

Я медленно прихожу в себя и начинаю соображать. Восьмой угробили. Чугунной строительной бабой обрушился загруженный до отказа противовес. Надо было отпустить канат — все равно такой вес не удержать, и руки были бы целы. Я перегибаюсь через перила рабочей галерки и, махая обеими руками, кричу в глубокий освещенный снизу колодезь:

— Жив, жив!

Но некому услышать мой крик — бескрайняя дощатая равнина покрыта опавшими листьями, и мягкие бесшумные хлопья уже ложатся на них, застилая белым саваном помертвевшее тело земли. Сквозящий безмолвный лес, простирая горестно к небу голые ветви, подступает к замерзшему (или высохшему?) руслу реки. На белой петляющей ленте только тоненькая ниточка её следов, четким пунктиром прочертивших на снегу уходящую вдаль кривую. Мгла выползает из-за деревьев, поднимается по стволам и, пряча звезды, спускается над вершинами бурым сводчатым потолком, покрывающимся на глазах серебристым пушком инея. Озаренная невидимым закатом ар-

ка принимает в себя ее следы, но зарево за аркой медленно гаснет, и бурые своды тьмы смыкаются, уплотняя пространство, а иней, отрываясь от нависшего вместо неба потолка, все сыплет и сыплет на землю нескончаемым снегопадом. Я иду по уснувшей в мертвом лесу реке, одинокий, продрогший и жалкий, а новые хлопья уже заполняют ямки ее тревожных следов, и — не догнать, не найти... В тишине и безветрии снег и время падают мне на плечи незаметно, я вижу себя почти занесенным под старой корявой березой, и мне все равно, радужные пятна плывут перед глазами, холодеет сердце, и растут в остывающем сознании ледяные дворцы Снежной королевы...

Сон уходит внезапно. Чувствую сердцебиение, одышку. Что-то случилось. Вроде бы тихо. Темно-то как! Запах металла, смазки и пыли — преисподняя театра, где страшная даже в ненадежном покое машина, приводящая в движение тяжелый круг сцены, спит чутким сном, готовая откликнуться сдержанным злобным рычанием на простой поворот переключателя. Бог с ней, с машиной, не она тревожит, вот, прошелестело что-то! Это — ее платье! Там дверь, за ней тоже темнота. Жесткая пружина скрипит, растягиваясь, и с грохотом захлопывает тяжелую металлическую створку. Воздух в подвале приходит в движение, я ощущаю это кожей лица, шевельнувшимися прядями волос. Одним прыжком я достигаю двери, чудом не налетев на торчащий из стены массивный болт, но не успеваю. Через три ступеньки вверх по лестнице — коридор пуст. Шагов не слышно. Тихо. Журчит вода в туалете. Длинный, темный коридор...

Я боюсь коридоров — мне кажется, что за спиной моей зияет опасный бездонный провал, увеличивающийся с каждым пройденным мною шагом. Давит потолок, и все узкое, стиснутое стенами пространство словно гонит меня вперед — скорее, скорее, не отставать от молчаливых теней, что спешат куда-то, не касаясь холодного пола. Кто они? Маски скрывают их лица. Они — как обложные флажки волки или рвущийся к арене бык — надеются на спасение.

...Но что это я? Бред, бред... Это потом, это нескоро, а пока — узкий коридор с односторонним движением и наглухо закрытые двери вдоль стен. Вот! Это щелкнул замок в двери. Где это? Крайняя гримуборная, в самом конце сжатого прост-

ранства, замкнутого квадратом окна. С улицы — мертвенный свет белого фонаря, четким прямоугольником на полу — словно коврик перед последней дверью. Гулкий стук моих башмаков бьется в узком пенале, загнанным лосем ухаает мое дыхание, сердце шарахается от крашенных стен к пыльному окну и обратно. Добежал. Тяну на себя ручку, ожидая жесткого сопротивления, но дверь открывается легко и бесшумно. В комнате — никого. Ночь в зеркалах, легкие тени перебегают где-то в их глубине. Легкие тени... Это шторы колышутся. Откуда-то дует, я чувствую, как сквозит по полу. Прикрываю за собой дверь. Шторы замирают, успокаиваются тени в зеркалах, и теперь только жутковатое ощущение другого мира втекает в комнату из мерцающих зеркальных окон. Окно?.. Да вот же — открытое окно, рама нараспашку. Отбрасываю в сторону штору и вижу притаившуюся на безмолвных улицах сказку.

Желтые клены и зеленые еще тополя застыли в оцепенении. Ветра нет. После холодного вечернего ливня асфальт мокр, а листья деревьев хранят в дрожащем ночном воздухе серебристые дождевые капли. Вода за деревьями черна и ленива. Над озером — загадочные огни пригородного поселка, близкие, и все же такие далекие, недостижимые, как сама красота. Как ее волосы, свет ее глаз и дрожание голоса. Она где-то там, за этими блестящими листьями, в зовущей темноте спящих улиц, под липами старого бульвара, где синие скамейки и кружево вековых кленов. Дыхание озера поднимается от берега по освещенной безлюдной аллее и возбуждающим холодом забирается под ее одежду. Она дрожит и плотнее запахивает легкий бежевый плащ. Она идет одна по черному лаку асфальта и улыбается желтым немигающим фонарям. Они добры к ней — их теплый и мягкий свет стекает по ее волосам, ласкает лицо, отражается в глубоких серых глазах. И в маленьком рубчике над ее бровью — драгоценная капелька дождя...

А я стою у окна и гляжу в ночь, и пытаюсь увидеть ее в театральном свете осенних фонарей. Но она не знает, она спит, свернувшись под ласковым одеялом и улыбаясь во сне, и не догадывается, что гуляет этой ночью по старому бульвару, а мой болезненно чуткий слух ловит неслышимый стук ее каблучков по дорогам его растрепанной памяти...

Я вскакиваю на подоконник — внизу крыша Сашиного автобуса, всего в метре-полтора от карниза. Железо грохочет под ногами, я бегу по автобусу, спрыгиваю на капот, потом на асфальт. Шаги мои — многократным эхом в коробке театрального двора. За воротами — ночь.

Я смотрю на себя как во сне, откуда-то сверху, и вижу стоящего в арке ворот невысокого худого парня в заношенной синей куртке и мятых брюках, который обшаривает безумным взглядом пустынную улицу. Пытаясь застегнуть куртку, он тербит длинными нервными пальцами испорченный замок «молнии». В его позе — растерянность, засаленные волосы взъерошены и лезут короткими прядями на воротник, а тоскующие глаза и землистый цвет делают его небритое лицо старым и больным.

Горят фонари, размеренно мигает желтый глаз светофора на перекрестке — нигде ни души. Он слушает городскую ночь. Издалека доносится шум мотора — это такси бежит где-то по центральным улицам в поисках поздних клиентов. Повизгивают на ветру троллейбусные провода, но шагов не слышно. Женские шаги далеко слышны ночью, каблучки по асфальту: цок-цок-цок... Но — тихо. Опять, все еще, уже — тихо. Сегодня тишина давит на виски, стальным обручем сжимает голову, прорываясь иногда неуловимыми убегающими звуками — вот, слышишь, разговаривают? Спорят, плачут, один голос — женский. О чем они? Да ну их! Он застегивает наконец куртку, ежится от прохватившего вдруг насквозь ветра, сует руки в карманы и бездумно идет прочь от театра по освещенной только для него одной улице.

Это старая улица. Мариинская — так она называлась раньше. В верхнем конце ее, напротив ресторана «Петровский», на месте бывшего дома губернатора Державина стоит помпезное административное здание, упирающееся в перекресток толстыми белеными колоннами, похожими на почтенных матрон в ночных рубашках. В обрамлении жеманных завитушек и кружевных оборок — пятиконечные звезды, серпы и молоты. «А хороший у нас герб — есть в нем молот, есть и серп...»

Фул поворачивает обратно и идет прочь. Он ищет глазами скамейку, чтобы перекурить, успокоиться, собраться с мыслями. Он сворачивает

под гулкую высокую арку, во двор. Там, на детской площадке, в маленьком домике-теремке, где скамейки покрыты толстым слоем песка, а на земляном полу валяются забытые пластмассовые формочки, Фул цепенеет. Он проваливается в блаженную отрешенность и видит только свет в окне четвертого этажа, упорно горящий в вязкой безмолвной ночи. Там любят. Или ненавидят. А может — болен ребенок или умирает старик. Или просто бессонница вездесущим вирусом проникла за эти зеленые занавеси и гудит теперь в ушах читающего старые газеты. А может, он Фула читает? Мысли его невысказанные, сны, мучительные сомнения? Сколько всего отложилось за последние годы, сколько забылось уже, кануло, перегорело. Года четыре назад они с Лехой кричали за бутылкой в сквере: сметь нужно, делать, не тонуть тихо в болоте апатии, вырваться, не жалея себя! Да, кричали...

А сейчас взять тебя, Фул, за грудки да спросить, о чем молчал эти годы, — не ответишь, стерлись мысли, да и не поверишь уже, что интересны они кому-то, что может быть в них какой-то смысл. Промолчишь.

Фул возвращается в мыслях своих к Лехе — единственному, чье молчание, ругань, даже дурацкие анекдоты спьяну не тяготят его. Леха не кричит больше, он думает. Молчать стал много. Работать. Иногда Фулу кажется, что друг его молчит как-то грозно даже, и в такие минуты становится вольно в груди, словно рядом с седобородым богатырем выходишь на высокий угор над степью, ковыль шелковыми волнами набегаем на твои сапоги, и только жаворонки своими песнями нарушают первозданную тишь. И ты стоишь, волнуемый близостью этого старца, и смотришь его глазами на вечное и бескрайнее море трав...

Но уже различимы в студенистой массе ковыля людские головы, мелькают помятые прически женщин, вязаные шапочки, лисьи малахай, и переливающаяся на ветру степь становится нескончаемым людским потоком в переходах глубокого питерского метро. Эскалатор уносит город куда-то вверх, плотная кипящая масса внизу приближается, рядом, за уныло повторяющимися фонарями, проплывают навстречу другие люди, жители другого мира — и щемит сердце от мысли, что эти люди, такие близкие в этот миг, через минуту

будут утеряны навсегда, и, быть может, лучший твой друг или самая любимая женщина вознеслись сейчас мимо тебя, даже не почувствовав твоей близости. Хочется перескочить на соседнюю чудесную лестницу, но тогда этот поток будет так же неотвратно ускользать от тебя вниз, исчезая в черных дырах тоннелей.

В переполненном вагоне Фул смотрит в спину стоящего у дверей мальчика. Он опирается на костыль, и небольшое свободное пространство человеческого участия окружает его. А может скорее — безразличного отторжения, которое родом из звериной стаи, где слабого и увечного если не загрызут, то сторонятся... Но где же он мог сломать ногу на сухих почти улицах города? Пальто на нем странное — длинное, черное и очень старое. И засаленная меховая шапка, хотя ровесники его уже давно ходят с непокрытыми головами — апрель в разгаре.

Поезд начинает тормозить, лампочки за окном замедляют свой бег назад, внутренности подземки уже хорошо различимы, но не светлая станция выныривает из-за паутины переплетенных кабелей, а маленькая освещенная тусклой лампой площадка с единственной дверью в необлицованной стене. Площадка замирает напротив двери вагона, створки расходятся, и только он, странный мальчик (а кому же еще?) выходит из уютного тепла в пугающее одиночество тоннеля, Фулу кажутся странными скованные движения мальчика — словно не нога у него сломана, а позвоночник. Никто не замечает внезапной остановки, люди читают, переговариваются, строят друг другу глазки, а поезд уже трогается, и мальчик за окном поворачивается ему вслед, и Фул видит наконец его лицо. Из-за толстых выпуклых линз прямо на Фула глядят слезящиеся старческие глаза. Сморщенные вокруг беззубого рта губы мелко дрожат, нос нависает над верхней губой, а очки закрывают почти половину иссушенного землистого лица. Что-то в этих водянистых глазах вызывает холодный спазм под ребрами, и тут же с ошеломляющей ясностью в сознании — это же ты, Фул! Это твои глаза смотрят сейчас из того неотвратимого будущего, на которое нет уже у тебя надежды! И к чему тогда все, если встретились вот так, лицом к лицу, и посмотрели молча в глаза друг другу, ощутив пропасть предстоящих еще

одному и прожитых уже другим лет, долгих, ненужных, потому что в душах друг друга разглядели они — смерть...

6. В баре

И к чему тогда этот долгий наскучивший уже разговор, откровения незнакомого человека, который так же, как и те, на эскалаторе, пронесется мимо, оставив лишь теплый безликий ветерок с запахом резины? Вот он сидит рядом за стойкой привычного бара, пьет торопливо и беспорядочно и изливает Фулу свою одинокую душу. Путник, не имеющий цели, как и ты, как и все мы...

Что будет потом, Фул знает.

Большая цветная фотография на стене бара давно уже тянет его в мертвый высохший лес над замерзшей рекой. Фул слышит мягкую тишину падающего снега, скрип под ногами, и хрустящие под снегом листья, а маленькая женская фигурка вдалеке зовет его за собой, рассыпая по реке тоненькую цепочку заносимых временем следов.

А пока — плотный лысоватый мужчина, так и не назвавший своего имени, горячо доказывает Фулу, что он человек. Обидели его. Да, больно это. Женщина обидела. Еще больнее. Любимая... Что тут скажешь!!!

Фул хмурится, опускает голову, крутит за ножку запотевший фужер. Жалко ему мужика, искренне жалко, но знает Фул, что не поможет одинокий одинокому, несчастный несчастному. И, чтобы смягчить его боль, Фул говорит как будто с участием:

— Знаешь, друг, я ведь тоже один. Плохо одному, но что поделаешь, все мы в стеклянных футлярах живем. А ты зря водку-то пьешь — только хуже станет. На меня не гляди — я не с горя, а по привычке. Возьми лучше шампанского с коньяком, если деньги есть. От «бурого медведя» голова светлеет и сил прибавляется.

(Афоризм типа: курение вредит вашему здоровью.)

— Спасибо, земляк. Ты меня понимаешь. Командир! Будь добр, коньяка с шампанским, фифти-фифти, две порции... Сейчас мы с тобой выпьем, это самое, и поедем ко мне. А дома еще выпь-

ем, у меня есть, у меня в холодильнике стоит, — брови у лысого смешно плавают, он старается их насушить, придать лицу трезвый вид, но старания его напрасны.

— Ну ты, друг, даешь! — Фул начинает вдруг вселиться, он смеется, смеется скорее над собой, над странностью, нелепостью своих слов: — А ты говоришь, жизнь тебе не мила. Да если у тебя даже в холодильнике стоит, дак о чем печаль.

— Хороший ты парень, — улыбается лысый. — Ну, тогда вот что, земляк! Ты пойди, это самое, такси поймай, а я попробую тут еще с собой взять. Загуляем мы с тобой!..

— Нет, нет... — смеется еще Фул, но холодок отчуждения уже тянется болотным туманом к его сердцу, сковывает улыбку, и он говорит неожиданно тихо и твердо: — Не поеду я.

Лицо лысого меняется, и уже не смешными кажутся взлетевшие в мольбе брови. Он робко берет Фула за руку и бормочет торопливо:

— Да как же? Как же так? Ты шутишь, земляк? Тебе что, тебе стыдно на мои деньги пить, а? Брось, это все ерунда, мне теперь деньги на х... не нужны, все равно пропью, все пропью... Поедем, а? Поедем?

— Не в том дело, не в том... — на душе у Фула становится совсем пусто, он не может сказать лысому ничего, он чувствует, что «потом», которого он ждет, уже близко. И то, что лысый снова рассказывает ему свою грустную историю, и что просит поехать с ним, горячо говорит, страстно, как всякий пьяный, — все это уже не имеет для Фула никакого значения. Он почти не видит постепенно трезвеющего от непонимания собеседника, тоска сосет его, хочется мокрых пустынных улиц с блестящим после дождя асфальтом, свежего ветра с озера, неживой изумрудной зелени редких, не облетевших еще тополей, подсвеченных холодными неоновыми фонарями. Вот и все... Снова человек прошел где-то рядом, легкий ветерок коснулся Фуловой души, но стихло все, пусто и мертво кругом.

К тоске и апатии Фула примешивается скользкий зародыш страха — как бы не вцепился в него этот человек, как бы не ухватил за что-то глубинное, объединяющее их в этом замкнутом круге всеобщего одиночества. Не слушать, не слушать его! Фул крутит за ножку фужер, курит и смотрит

в стойку. Но отдельные слова доходят все же до его сознания, и он должен как-то реагировать, да, должен, нельзя так...

— ...ее фотографию тебе покажу, ты увидишь, какая она, ты поймешь, земляк, — горячится лысый, он явно испуган, он пытается удержать ускользающее от него сочувствие.

— Не надо фотографию. Не надо ехать, — снова тихо и твердо говорит Фул.

Он знает, что там будет. Мужик покажет ему ее улыбающееся лицо, счастливое в пору их весны, но это будет не она — то светлое время осталось навсегда за стеклом портрета, а другая, уставшая и разочаровавшаяся, женщина ушла из уснувшего времени в другое, сулящее ей новые надежды. Он же, плачущий, остался там, за стеклом, а сейчас лишь вино приоткрыло ему окошечко в прошлое, и он видит там свое минувшее счастье и оплакивает его, а ведь лишился его намного раньше, и нет уже той, которая смеялась звонко на июльском пляже, когда ветер трепал ее золотые волосы, и нет ее нигде — не только в доме его. И завтра, когда похмелье будет ломать его тело, он возненавидит ту, что ушла, — за разрушенную память о той, что осталась навсегда любимой, и он будет ругать ее, и не поверит никогда, что обе эти женщины любили его одинаково, но он изменял этой, ушедшей, листая старые альбомы и возвращая в памяти летний вечер и горячий песок под их молодыми и жадными телами...

Что будет потом, Фул знает.

Он вздохнет устало, взерошит пятерней волосы и скажет, покручивая между пальцев ножку фужера:

— Пойду я, пожалуй. Ты уж прости, нечего мне больше сказать.

Потом он кивнет бармену, подождет, пока тот подойдет, и вполголоса проговорит, пряча в карман сигареты:

— Игорь, три с брусничкой запиши на меня.

Вот и готов Фул в дорогу...

А бармен улыбнется в ответ, достанет из-под стойки потрепанную общую тетрадь и сосредоточенно отметит напротив имени Фула нужную сумму. Игорь не станет укорять Фула растущим долгом — он знает, что в день получки Фул принесет все и оставшиеся деньги тоже перекачают в кассу бара. За те краткие секунды, которые потребуются Игорю для отметок в долговой книге,

Фул успеет увидеть себя глазами тихого светловолосого бармена.

Он приятный собеседник, кроме того, ведет себя всегда прилично. Игорь знает, что Фул заходит в бар только в его смену, и это лестно бармену, таких клиентов, считает он, нужно беречь. Эта взаимная симпатия зародилась у них в начале лета, и Игорь помнит, как развлекал его Фул по утрам в пустом и сонном баре, когда солнечные лучи, проникая сквозь цветные стекла витражей, беззаботно играли на чистых перевернутых фужерах, на зеленой глади бутылочных боков и на девственно чистой еще стойке.

Фул тоже помнит эти летние утра — пол еще не заплеван, пепельницы пусты, а входная дверь (в хорошую погоду) распахнута настежь, и свежий ветерок путается в кованой решетке гардероба. Около часу появляются говорливые девушки из проектного института, они не задерживаются в баре, сразу проходят вниз, в шашлычную, под сводами подвальчика раздается их смех, веселая болтовня, ароматы кухни влывают несмело в бар, но ветер из открытой двери быстро загоняет их обратно. До перерыва Игорь не любит включать музыку, разве только по просьбе кого-то из знакомых. Но Фул не просит, он наслаждается покоем и тишиной, потягивает неизменную водку с брусничкой «фифти-фифти» и степенно беседует с барменом о рыбалке, видах на грибной урожай и о подвесных моторах. Разговор течет легко, с тем оттенком недоговоренности, который бывает между людьми, уверенными, что собеседник поймет с полуслова.

Но это время ушло, и Фул стал замечать, как удивляет Игоря та перемена, что происходит в нем с наступлением осени. Осени? Да, он и сам поначалу связывал свое состояние с зависшей над городом пеленой тяжелых туманов и бесконечно морозящих дождей, неосознанно пытаясь оправдать временем года завладевшую всем существом депрессию. Фул стал заходить реже и теперь уже вечерами, когда в накуренном и слабо освещенном баре словно бы оживает жутковатый фантастический мир галлюцинаций Босха. Он мрачно молчалив или же как-то странно, болезненно возбужден и совсем не похож на того Фула, что сидел здесь несколько недель назад. Речи его становятся для Игоря непонятными, хоть и привык тот к подогретым коктейлями спорам художников и ребят из окололитературного мира.

Но полно, не сам ли ты, Фул, все это придумал, не пытаешься ли увидеть себя чужими глазами таким, каким самому хотелось бы выглядеть? Что же теперь в твоём блуждающем взгляде одно только брезгливое беспокойство эгоиста? Почему сегодня ты не можешь сказать ничего утешительного этому растерянному мужчине, теребящему редкую бородку тонкими желтыми пальцами? Тебя это не касается? И что же думает сейчас о тебе наблюдательный Игорь? Не знаешь? Зато знаешь вот что:

Игорь улыбнется еще раз, поднимая голову от тетради, и скажет:

— Что-то ты рано сегодня, Фул.

А ты пожмешь плечами, сползешь с высокого табурета и ответишь, глядя мимо бармена на тревожную фотографию на стене:

— Когда бьют битую собаку, она поджимает хвост.

Умоляющий взгляд лысого, его запоздавшие уже слова не достигнут тебя, через стойку повеет колючим холодом из мертвого леса, и ты уйдешь по бесконечной белой дороге в мир своей тоски, где ниточка ее следов теряется в снежных заносах, а в неглубоких ямках расцветают робкие желтые цветы, чтобы через миг исчезнуть под тончайшими иголочками инея. Ты будешь брести под сводами склонивших над рекой свои ветви деревьев, но вскоре ее следы окажутся за стеклянной стеной, и ты пойдешь вдоль нее, не замечая, что постепенно стена делится надвое, и лишь прижавшись лицом к стеклу, ты увидишь исчезающий в тяжелой густой мгле след и поймешь, что каждый твой шаг только отдаляет тебя от нее, и ты будешь стоять бесцельно, пока не уснешь в искристом сугробе, освещенном окнами швейной мастерской. И в сладком холоде января тебе приснится она, но кто-то с крыльями ангела и головой черта засмеется козлиным смехом и будет трясти бородой, отгоняя ее образ и навязывая тебе воспоминания о призрачном подобии жизни, когда ты еще надеялся на какой-то выход из безмолвного, лишеного солнца коридора. И, мучимый желанием вырваться, ты пойдешь за бородатым ангелом с козлиными рожками по кривым тоннелям сырого подземелья и, лишь выйдя в пустынный выставочный зал, из окна которого виден все тот же поток восколикых манекенов, поймешь, что новая неудача постигла тебя, но смиришься

на время, чтобы набраться сил, отдохнуть, и будешь кивать и соглашаться. Вот так:

– Да, да, конечно...

Ты сразу поймешь, что спорить с ним – глупо, объяснять что-то – бесполезно. Да, соглашаться унижительно, но что поделаешь?.. Во сне своем ты снова увидишь меня, мучимого ускользящим воспоминанием, ощущением уже раз пережитого, но я пройду сквозь твой сон, не подозревая ни о чем, не замечая твоих знаков и не видя обрубков крыльев за спиной Косоротова, извлеченного мною из твоей памяти, Фул...

(Тут сам чёрт ничего не разберёт. Это раздвоение личности запутает кого угодно. Очевидно, что «я» и «ты» и «Фул» означает alter ego самого автора.)

7. Косоротов

Я заметил его на выставке прикладного искусства. Косоротов стоял перед стендом с берестяными туесами, заложив руки за спину, выпятив нижнюю челюсть и жутко вращая глазами. То, что этого человека зовут Косоротов, я знал всегда, но видел его сейчас впервые и с интересом приглядывался к странному возбужденному типу. У меня экспонаты не вызвали ни малейшего интереса – кажется, я зашел сюда переждать дождь, но, возможно, это было и не так – прошло много времени, я намерзся в январском сугробе, и страшный дремлющий мотор под сценой все еще давил на меня своей тяжестью. Во всяком случае, я был болен своей хронической болезнью, окутавшей меня заторможенностью и притупленностью восприятия.

Низкорослый сорокалетний бородач двигался по залу хаотически и стремительно. Я никак не мог понять, чем же он отличается от тех немногих посетителей, которые лениво прохаживались вдоль стен, переговариваясь вполголоса. Я не замечал красноречивой жестикуляции Фула, пытавшегося обратить мое внимание на кончик хвоста, предательски выглядывающий из штанины Косоротова. Фул прекрасно видел и хвост, и культи крыльев, и, может быть, даже шишечки начинающих прорезываться рогов под лохматой шевелюрой, но я лишь томился неясной тревогой.

(Мастер и Маргарита? Парафразы романа встречаются и ниже. Однако: omnis mundi creatura quasi liber et pictura nobis est in speculum, как говаривал один римлянин. Всякая тварь для нас лишь отраженная в зеркале книга или картина.)

Заметив мой любопытный взгляд, забравшийся уже в его заросшее жесткими черными волосами ухо, бородач метнулся ко мне и прорычал:

– Интересуетесь, молодой человек? Косоротов, краевед, – и он резко выбросил вперед широкую, но по-женски пухлую и белую ладонь.

Рука была холодной и влажной. Я в растерянности принял ее в свою и пробормотал:

– Павел.

– Как вы находите эту возмутительную выставку? Это же насмешка над прекрасным, так сказать, народным искусством! Вы только взгляните на эти туеса! А ложки! Что в них осталось от традиционного? Одно название. О-о! Завтра же я пойду в отдел культуры и раскрою им глаза. Нет, сегодня же! Как вы считаете? – одним духом выпалил Косоротов, на глазах у притаившегося во мне Фула расправляя белые крылья.

Я ошарашенно смотрел на бородастого и не знал, что ответить.

– Я вижу, вы сомневаетесь, мой юный друг! – сощурившись и свойски ухмыляясь, продолжал Косоротов.

Он приблизился ко мне вплотную и, обдав запахом нездорового желудка, доверительно добавил:

– Напрасно сомневаетесь. Завотделом – может, знаете, Никонов? – мой приятель. Да скажу вам честно, если бы не я в свое время, не сидеть бы ему в этом кресле. Я вообще, знаете ли, многим здесь помог. Все связи, связи – сам род моей деятельности обязывает меня быть на короткой ноге с сильными мира сего. М-да... Я ведь изучаю историю предприятий города, ну а народное, так сказать, творчество – это уже для души, отдохновение после напряженных трудов. А народное искусство, как вам известно, есть ипостась народной души!

Неясное ощущение уже слышанного опять всколыхнулось во мне, но волна памяти угасла, не позволив мне увидеть свое прошлое сквозь стущавшийся вокруг меня бред.

Произнеся последние слова, эхом прокатившиеся в глубь моих воспоминаний, Косоротов

заглянул снизу мне в лицо и пристально посмотрел в глаза, словно проверяя действие своего изречения. Мне стало не по себе, образ бородача расплывался, я не знал, что мне думать о нем, а Фул, несмотря на все его старания, не мог уже помочь мне. Косоротов истолковал мое молчание по-своему — он, очевидно, решил, что окончательно покорила своего собеседника, и теперь горделиво напыжился и принял покровительственный панибратский тон.

— Ну, Павел, дождь, кажется, перестал, — сказал он, едва глянув в окно. — Пойдем покурим?

Я проследил за его взглядом и удивился — о каком дожде могла идти речь, когда за пыльными стеклами плотная безлика толпа неслась над каменными плитами уже знакомого мне коридора и тусклые лампочки без плафонов освещали покрытый испариной сводчатый потолок? Что-то (быть может, Фул?) противилось во мне, не пускало в эту тусклую мглу, наполненную бледными молчаливыми тенями. Хотелось давно не виденного солнца и свежего ветра, но другого выхода из зала не было, да и промозглые эти сумерки были давно уже во мне самом. Я послушно поплелся к выходу вслед за Косоротовым. Навстречу пахло затхлым холодом, хотя легкое, как в метро, движение воздуха подгоняло бегущих.

— Я вижу, Павел, ты никуда не торопишься, — сказал Косоротов, заметив мои неуверенные движения. Сам он был окружен (я разглядел это только в полумраке подземелья) каким-то свечением, за пределами которого, скорее всего, ничего не видел. Самодовольно улыбаясь, он продолжал:

— Может, ко мне зайдем? Это недалеко. Мне кажется, что нам есть о чем поговорить. Ты, наверно, студент?

— Да нет, я работаю в театре, монтировщиком.

— О! Театр! Моя молодость! В свое время я работал в Бердянском народном театре. Приобшал, так сказать, юных к высокому искусству. У меня была своя система, как обучать молодежь лицедейству. Действовала безотказно, надо признать. Сейчас многие из моих ребят работают на профессиональной сцене. Это ведь, между нами, дело-то простое, нужно только секрет знать, — хитро и, как мне показалось, безумно усмехнулся Косоротов. — Вот ты монтировщиком работаешь. А надо расти. И коли ты избрал театр делом своей

жизни, то дорога тебе одна — в театральный институт. У тебя ведь нет высшего образования?

Вопрос свой он задал с некоторой опаской, но я сразу же успокоил его, отрицательно мотнув головой.

— Ну вот видишь! А у меня, мой юный друг, почти два — год юрфака и сельскохозяйственный. Но жизнь, так сказать, сложная штука. Диалектика! И я понял, что мое призвание это история родного края.

— А вы откуда родом? — заинтересовался было я.

— Родился в Барнауле. В Карелию приехал из Херсонской области шесть лет назад и, ты знаешь, — поразился! Ведь какой, так сказать, край! И никто не изучает.

— Да у нас вроде исследовательский институт, — слабо возразил я и сразу осекся, заметив, как один из восколикых прошел сквозь задрожавшую на миг, словно неустойчивое телевизионное изображение, фигуру Косоротова.

— Что? Институт? — он скривился в презрительной усмешке. — Я и сам ценитель народных песен, резьбы разной, вышивки. Но помилуйте, нельзя же этим всерьез заниматься всю свою жизнь! На это есть ансамбли, хоры, музеи наконец. Каменные топоры, бронзовые пряжки — тоже, конечно, интересно, но как же быть с нашей живой историей? Вот я, к примеру, сразу в партком судоремонтного завода, и — так, мол, и так, буду писать историю вашего предприятия. И сразу поддержка! Василий Иванович поддержал, в райкоме поддержали, профсоюз машинку выделил! И что приятно, пользу обществу приношу. Но все это, конечно, на общественных началах, по зову, так сказать, сердца.

О, если бы я мог видеть примеряемый им нимб, который сиянием своим резал глаза Фулу, разве спросил бы я:

— Простите, а вы кем работаете?

Он ответил со всей важностью испытывающего лишения подвижника:

— Да так, простым инженером. Но это не важно. По технике безопасности. Временно, конечно. Завод обещает единицу заведующего музеем трудовой славы — вот тогда развернемся! Верно? А? Я еще на выставке заметил — интересуется молодой человек, вот и хорошо, надо! А может, у тебя еще какие интересы есть? Стихи, наверно, сочиняешь? Угадал?

— Да не то чтобы... — растерялся я от неожиданного поворота.

— Вот видишь! Я людей насквозь вижу! — снова засверкал Косоротов. — Я сейчас тебе один секрет открою. В семидесятом году я работал в Моршанском доме пионеров руководителем литкружка. В молодости-то я и сам грешил сочинительством, так что кое-что в этом деле понимаю. Главное в стихах — консолидация, так сказать, ритмической ткани! Так? — при этих словах Косоротов поднял свой пухлый белый перст, но бурая ящерица, выскользнувшая из рукава, испортила его величественную позу, и Косоротов был вынужден ловить ее и суетливо прятать в карман.

Я сделал вид, что ничего не заметил, но опять чувство неуловимой знакомости растревожило мою память — и напрасно усмехался где-то Фул — я не мог вспомнить.

— О, мы чуть не прошли мимо! Все разговоры, разговоры. Нам сюда, проходи. Вниз и направо.

Косоротов прошел вперед. Я оглянулся. Молчаливый поток белых масок продолжал течь в одну сторону, словно увлекаемый какой-то черной дырой. Никто не взглянул на нас, отделившись и свернувших в затхлую сырую нишу, в которой начиналась крутая лестница вниз. На лестнице было темно. Только теперь я понял, что действительно иду зачем-то за этим безумцем, до сих пор движения мои были неосознанными. Я находился в привычном заторможенном состоянии похмелья, но еще что-то, похожее на противоестественное поведение змеи при звуках дудочки факира, вело меня за ним. Я уже не помнил, о чем мы говорили по дороге.

Покинувший меня Фул чувствовал, что Косоротов суетится искренне — мне же казалось, что это не так, что под всей этой шелухой есть какой-то тайничок с сюрпризом, ирония разочаровавшегося, игра, насмешка. Фул звал меня, чтобы уйти вместе, но я не слышал, как не услышал и его предостережений, безнадежной скуки и усталости. Я шел — мне было интересно, чем еще угостит меня энергичный бородач, да и слабая надежда на угощение в прямом смысле теплилась во мне — со вчерашнего утра я еще ничего не ел, если не считать парочки пирожков на закуску.

Но надежды мои оказались напрасными. Открыв покрытую белой плесенью дверь, Косоротов провел меня в высокую темную комнату и, не

предложив даже чаю, усадил в засаленное кресло. Я огляделся. Самодельные стеллажи поднимались к самому потолку по всем стенам комнаты. Дошчатые полки прогибались под тяжестью пухлых папок, старых журналов и пачек чистой, но пожелтевшей от времени и сырости бумаги. Кое-где были и книги, но относительно немного, в основном популярные издания в мягких потрепанных обложках. Серая пелена, окутывавшая углы, оказалась обычной паутиной, захватившей постепенно пространство неухоженного жилища. Я вспомнил трещину в стене, по которой паук из моего сна спускался к непричесанной серой женщине. В ее усталых руках был тяжелый бронзовый канделябр, который она чистила когда-то золотом. Зола давно просыпалась, а бронза уже покрывалась новой патиной. Трещина в стене росла с каждым годом, и с каждым годом паук спускался все ниже и ниже, и женщина хотела встать и уйти в комнату за треснувшей стеной, но оставалась сидеть, бессильно опустив руки и покрываясь пылью. Она знала, что в той комнате нет для нее места — весь пол там занят старыми вещами: сломанной мебелью, книгами без обложек, битой посудой, рамами от картин. И там не было никого — уже много лет. Здесь же был паук.

В комнате Косоротова стоял густой запах окурков и пыли. Узкий подоконник под черным квадратом окна, пересеченным облупившейся рамой, стол и шаткие стулья были завалены всяческим хламом: среди пустых бутылок из-под кефира, смятых сигаретных пачек и остатков пищи валялись испачканные жирными руками журналы и рукописи. Женщина из моего сна жила в пыльной вечности, в безвременье пирамид, здесь же грязь и беспорядок рождались суетой.

Заметив мое недоумение, Косоротов стал торопливо объяснять, поднимаясь по ступенькам деревянной стремянки и стряхивая тучи пыли со своих архивных залежей:

— Ты не удивляйся. Творческая, так сказать, обстановка. Всякое творчество требует свободы! Вот и пришлось мне расстаться с женой. Она была женщина ограниченная, исканий моих не понимала, ну а я не счел возможным жертвовать своими убеждениями. Так и разошлись, без крика, по-интеллигентному. Вот только холодильник и телевизор она забрала, мешанка, но зато вся мебель и библиотека, как ви-

дишь, мне остались. Ты покури пока, а я поищу для тебя одну статейку.

Косоротов отвернулся к стеллажам, а я присмотрелся к его костюму. На нем были заношенные до мешков на коленях черные штаны, такой же, блестящий на локтях, пиджак и некогда белая, но порыжевшая нейлоновая рубашка с галстуком, узел которого врос в крепкую и грязную шею Косоротова. В его зубах дымилась сигарета, и поскольку руки у него были все время заняты, пепел сыпался прямо на пол, а дым назойливо лез Косоротову в глаза. Он щурился, тряс головой, и при этом его короткая широкая борода скребла по огромному узлу галстука.

Косоротов продолжал искать обещанную статью, не умолкая ни на миг:

— Тут у меня все о развитии народного театрального творчества в Бердянске. А вот, — и он потряс в воздухе папкой, — отчеты о проделанной за десять лет работе. Я все фиксирую, мало ли что, да и опыт мой еще пригодится. Здесь стихи моих литкружковцев, материалы по всем предприятиям города, копии протоколов заседаний общества охраны памятников, воспоминания ветеранов. А вот, гляди-ка! В этой папке моя, так сказать, прекрасная и неизвестная духовная жизнь!

Косоротов простер вперед руку с внушительной кипой бумаг, словно фокусник, доставший кролика из сложенного носового платка. Лицо его засветилось, и с удивлением я заметил, что его ноги оторвались от стремянки, а голова уперлась в серый растрескавшийся потолок. Если бы я смотрел тогда глазами Фула, то не увидел бы ничего странного в этом явлении, потому что в воздух Косоротова подняли крылья, белыми каллами расправившиеся на миг на мозолистых культиях за его спиной.

С беличьей проворностью Косоротов слетел со стремянки и опустил на мои колени всю пачку. Не задерживаясь ни секунды, он снова взмыл по ступенькам и бросил через плечо:

— Ты пока ознакомься. Это мои мысли и рассуждения — о любви, о других, так сказать, общечеловеческих ценностях. Душа человеческая есть квинтэссенция вековой мудрости эволюции! — Косоротов неожиданно повернулся и застыл.

Я не совсем понимал, чего он от меня ждет, и в первые секунды лихорадочно хватался за ус-

кользающее воспоминание, подмигивающее мне из чешуйчатой оболочки слова «квинтэссенция», но, поскольку Косоротов выжидающе молчал, я пробормотал:

— Да, в некотором роде... Я думаю, что наверное...

— Мой друг! У тебя чуткая душа! Я даже не ожидал найти в тебе столь глубокое понимание сути вещей. Но где же моя статья? Да вот она! Три года не хотят печатать! Такая кругом косность! Ты посмотри, сколько я литературы перелопатил, — Косоротов протянул мне еще одну папку.

— Там сверху статья, а под ней газеты, вырезки. Ты все это изучи внимательно, а я сейчас...

Косоротов выбежал из комнаты. Послышалось журчание, длившееся неправдоподобно долго. Я открыл папку. Статья, отпечатанная в пяти экземплярах, была сильно истрепана руками многих редакторов. Под статьей лежала куча газетных вырезок, судя по датам на пожелтевших полях — лет за тридцать, не меньше.

Вернулся хозяин. Сигарета в его зубах уже догорела, он закурил новую и присел рядом со мной на подлокотник кресла. Носки его воняли жутко.

— Год потратил. Решил написать, так сказать, летопись деревни Сосновое. Неизученная совсем деревня, со своими интересными традициями. Все газеты начиная с сорок седьмого перечитал, выписки делал, из сельсовета справки запрашивал — и вот, так сказать, сам труд. То есть записей, конечно, значительно больше, но в статью я отобрал только самое важное — принятие христианства, переселение народов, взаимодействие культур, развитие промышленности, кооперативной торговли, перерождение традиций и прочее.

Говоря все это, Косоротов так размахивал руками, что часть бумаг рассыпалась по полу и, подхваченная вихрем вдохновенных слов, закружилась вокруг кресла. Отдельные листы падали нам на головы, другие взлетали к стеллажам и опускались на полки, делая комнату похожей на подготовленное к ремонту помещение.

— Здесь все перечислено. Карельская деревня как она есть. От и до! — когда краевед решительным жестом отрубил «от и до», последние листы успокоились на моих коленях.

— Но ведь в Сосновом деревни не было, там лесопункт только после войны... — смог наконец робко возразить я.

– Да ты что! – возмущенно перебил Косоротов.
– Что ты знаешь о Сосновом, законченный горожанин! Я сам там на старом кладбище раскопки проводил!

Что-то включилось во мне – робость растаяла как утренний туман, и я почувствовал в себе нарастающее раздражение. Отгоняя сонное наваждение, я заговорил с твердой убежденностью:

– Мой дед родился в Варже – была такая деревня километрах в десяти от нынешнего Соснового – и работал там до 38-го учителем в национальной школе. Там же и отец мой родился, но деда с семьей выслали, и оказался отец в семилетнем возрасте под Красноярском. Дед там и умер, а когда отец вернулся в пятидесятые в Карелию, деревни родной уже не было. Вот и остался он в Сосновом. Там же и с матерью моей познакомился, она белоруска, из раскулаченных. Я к ней по несколько раз в год езжу.

(Прямо проповедь какая-то! В тексте чувствует-ся влияние современной национальной политики. А сам-то раньше не понимал, что ли?)

Я говорил, а раздражение мое уже переросло в прямую злобу.

– Нет там старого кладбища, нет традиций, и живет там обычный для лесных поселков народ – остатки коренных варжинцев, потомки соловецких зеков, послевоенные вербованные, да еще южане, приехавшие на север за длинным рублем.

Слова мои казались мне чужими, резкими и бесстрастными, они выпадали из меня, как блестящие серийные детали из станка-автомата, с равными промежутками, монотонно и без сбоев. Это покинувший было меня Фул помогал мне отбиться от беспорядочных атак Косоротова. Выговорившись, он возвратил меня в давнишний майский сон, в котором призрачная белая ночь ласкала грязный сердитый поезд и влекла меня на север, где взбегают на пологие скалы низкорослые, скрученные ветрами сосны, где пряный запах просыпающихся весной болот дурманит голову и зовет в туманную зыбь. Тихая девушка Санька молчала мне своим флажком с забытого богом полустанка, и волна глубокой печали напомнила мне о той застывшей во времени ночи, когда еще одна человеческая душа была потеряна для меня навеки.

– Ты читал? Ты читал что-нибудь о Сосновом?! Я не желаю разговаривать с дилетантами! – врывается в мое сознание истеричный крик Косоротова, и я вижу, как он вылетает из комнаты, опрокидывая по пути стул.

Фул уже не прячется по углам, он властно заполняет мое тело и показывает мне уходящего в свой абсурдный мир Косоротова во всей красе – изогнутые назад рога прочерчивают в воздухе огненный след, и черной змеей извивается по полу длинный блестящий хвост.

Мир Косоротова отдаляется, но Фул ясно видит комнату, грязь и паутину, брезгливое чувство наполняет его новой силой, и он со спокойной решимостью ждет близкой развязки.

Из кухни доносится неистовое громохание кастрюль, и Фул слышит, как хозяин, чавкая и отдуваясь, хлебает половником холодный суп. Через минуту он возвращается, вытирая бороду и доброжелательно улыбаясь:

– Мой юный друг! Я все же надеюсь, что знакомство наше продолжится, хотя ты и не совсем разделяешь мои взгляды.

Косоротов с интонациями трибуна продолжил:
– Ты, Коля, очевидно из тех молодых людей, которые сомневаются в своих силах приносить пользу социуму и потому предпочитают бездельствие активной общественной деятельности. Такая позиция есть чистейшей воды декадентство и разложение умов. Как писал в своей статье небезызвестный, я надеюсь, тебе Саша Мешалкин: «Во время перестройки как никогда требуются энтузиасты и оптимисты, фантазеры и мечтатели, романтики и умейки!» Требуются! Понимаешь? Так что напрасно ты держишь под спудом свои способности, их следует принести на службу прогрессу и развитию нашего, так сказать, общества! Я понимаю, жизнь, конечно, весьма противоречивая субстанция человеческого духа, но кто, как не мы сами, направит ее в нужное русло, в котором плывут единым потоком величайшие умы исторического развития, которое, подчиняясь законом Маркса и Дарвина, течет и изменяется, так сказать, в силу своего диалектического материализма, который...

Глаза Косоротова горят, волосы на голове начинают шевелиться, а хвост стучит по полу, как у восторженного щенка.

Фул теряет логическую нить его вдохновенной речи и с ужасом наблюдает, как искажается пространство затхлой комнаты, сходятся над головой ожившие вдруг стены — словно в кошмарном рассказе Эдгара По, и лезет из углов разная нечисть, усмехаясь беззубыми ртами и протягивая к Фулу тонкие волосатые ручки.

— ... которое движется вперед благодаря принципу всеобщей, так сказать, справедливости, которая в условиях перестройки есть непреложный закон и естественное состояние нашего общества, которое...

Фул решительно стряхивает с себя оцепенение и встает. Кипы бумаг соскальзывают с его колен на пол, и он наконец-то понимает, что за воспоминание мучило его все это время.

8. Стриженная Ира

Наконец-то! Фул вспоминает комнату в коммуналке, и ему делается весело: «На сколько процентов в свете общественно полезных решений чувствует себя ваша полуправая жопа?» — «Спасибо, товарищ, после обсуждения в производственно-технической номенклатуре у нее стали прорезываться зубки». Хозяин комнаты Сюр рисовал для забавы гостей абсурдные картинки, в которых переплетались политика и порнография. Сюр был рисовальщиком от природы, иногда импровизировал на гитаре — легко и искусно, как заправский джазмен. Деклассированный элемент, остроумный и демонстративно необразованный бич (восьмилетка с грехом пополам) притягивал к себе многих, заплутавших в лабиринтах бесконечного коридора. Он давал им возможность забыть все и вся, бесшабашно распахануться на заплеванном полу своей комнатухи. Приходили многие, без приглашения и без дела — просто посидеть. Говорить было необязательно — слушали новую музыку «из-за бугра» и записи самодельных городских рок-групп. Иногда кто-нибудь приносил вино — побольше да подешевле, вроде так называемого «прибрежного», было такое, болгарское. Пили, перебрываясь редкими, ничего не значащими фразами, а Сюр развлекал гостей нелепыми историями, впрочем, вполне художественными и по-своему притягательными. Над его кроватью висел метровый ри-

сунок: тщательно прорисованный большой палец ноги. Его Сюр называл своим ангелом-хранителем и всерьез утверждал, что он-то и возбуждает невероятную страсть в его нечастых гостях. Женщины действительно бывали у него редко, и никаким особым отношением хозяин их не выделял. Сюр с друзьями жили в каком-то выдуманном, не больно-то прекрасном, но зато веселом мире. Напившись в баре бархатного, они становились во дворе в круг и пели шепотом, положив руки друг другу на плечи, подражая героям любимого фильма: «Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги».

Мелодия выпутывается из лабиринтов воспоминаний и, шевельнув губами Фула, оставляет его в искристом январском сугробе, а синий фонарь милицейской машины возвращает его к действительности. Сюр расплывается за свою беззаботную жизнь на кирпичном заводе, и ледяные крюки строп жгут его руки сквозь изношенные брезентовые рукавицы... Но почему мороз, почему? — ведь сейчас осень, а это все было прошлой зимой, когда Фул искал себе дела, когда приходил к Альберту Петровичу, еще надеясь и веря. Во что?

А сейчас тот же двор, но земля гола, снега нет, и холодный октябрьский ветер давно уже выдул жухлые листья с детской площадки. Фул выбирается из детского теремка, шаги его на песке не слышны, но асфальт встречает его подошвы гулками шлепками, эхом, раздающимся под сводами высокой арки, выход из которой кажется ему недостижимым. Тускло и недоступно светят на улице далекие фонари. Освещенный выход из арки сужается, проем зарастает неоштукатуренной кирпичной кладкой, а уличные фонари, сжавшись в один слабый огонек, превращаются в забранный металлической сеткой плафон над тяжелой подвальной дверью.

— Нам сюда, — говорит Леха, и Фул вспоминает, что они уже долго-долго идут по темным дворам, и все молча, молча.

Ноги мерзнут — ботинки промокли насквозь в бесчисленных лужах, которые нет смысла обходить в немощенных проулках окраины.

Леха стучит в железную дверь — хитро как-то, должно быть — условный сигнал. В ответ из подземелья доносится приглушенный крик: «Погоди!» Минут через пять дверь с визгом открывает-

ся, за ней — красный полумрак, фантастическое многомерное пространство с нарушенной системой координат. Откуда-то из глубины этой красной пещеры слышится хриплое пение: «Протопы ты мне баньку по-белому ...»

— Осторожно, — предупреждает Леха.

Фул спускается следом за ним. Всего три ступеньки. Он идет на ощупь, различая впереди только силуэты хозяина и Лехи, два красных фонаря на правой стене и то небольшое, что освещено ими. На длинном столе под фонарями — громада увеличителя и большие кюветы с растворами. Свет падает прямо в них, и огромные, почти метровые фотографии, плавающие в фиксаже, видны хорошо. Это портреты, лица на них пустые и самодовольные, зато на груди — сияние золотых звезд.

Фул натывается в темноте на что-то, дохнувшее на него сухим теплом. Засмотревшись на фотографии, он не заметил массивного барабанного глянцевателя, гудение которого и создавало в подвале непривычный звуковой фон. Постепенно глаза начинают привыкать, и Фул различает низкий бетонный потолок, угрюмо нависший своей многотонной тяжестью. Его шероховатая поверхность переламывается где-то в сумраке углов и переходит в стену, на которой едва различимы две большие раковины с открытыми журчащими кранами.

Впереди скрипит еще одна дверь, а за ней в таком же красном свете — пространство поменьше, вроде комнаты. Это отсюда доносится голос Высоцкого из старенького «Романтика», стоящего на покрытом клеенкой столе. На стенах каморки Фул видит множество прекрасных фотографий, на полочке — иностранные фотожурналы. Не замечает лишь оставшегося за открытой дверью человека, но это потом, это успеется.

А пока Фул разглядывает хозяина. Тот немолод, под глазами набрякшие темные мешки, две скорбные морщины по щекам и жидкие бесцветные волосы с двумя глубокими залысинами. Лицо у него загорелое, и трудно поверить, что большую часть времени проводит он в сыром и темном подвале — скорее на плотника похож он краснокирпичным цветом лица. Вид у него довольно помятый, усталый, но искристые глаза из-под прищуренных век глядят на гостей тепло и приветливо. Фул знакомится коротко:

— Павел.

— Андрей, — рука хозяина суха и крепка. Он закрывает дверь в лабораторию, задерживает черную штору и совершенно неожиданно, словно волшебник, выпускает в каморку солнечный луч. Вздвогнув от неожиданности, Фул вспоминает, что уже много дней он не видел солнца, и радостное возбуждение оживляет его осунувшееся лицо.

Он оборачивается, чтобы поделиться своей радостью с Лехой, и вдруг замечает в углу за дверью сжавшуюся женскую фигуру.

Фул оторопело, как застигнутый врасплох заяц, смотрит на нее, забыв на мгновение о Лехе, о хозяйне-фотографе, обо всем. Ему кажется, что встреча эта — некое предзнаменование, что стриженная эта девушка в солнечном луче так же, как и он, почувствовала что-то важное для них двоих и что протянута уже между ними та тончайшая нить, по которой Фул переходил через провал глубокого двора-колодца к ней же, но пышноволосяй тогда и зовущей. Взгляд ее такой же обреченный, но все еще ждущий, проникает глубоко в Фула, и он чувствует знакомый холодок и пот на ладонях, и тонкие пальцы девушки, нервно ощупывающие дешевые сережки в розовых мочках ушей, говорят ему о близкой чужой беде.

— Да, прошу прощения. Это Ира, — несколько смущенно говорит Андрей, перехватив растерянный взгляд Фула. — Высоцкого слушаем. А это вот — Павел, Алексей. Ира, ты будешь? Что там у вас, Леха? Ира, сухонькое, давай подсаживайся.

Простоватая вежливость Андрея в одно мгновение разрушает всю чудную картину — льющее солнечные лучи окошко оказывается квадратной лампой дневного света, а девушка — просто Ирой, пьющей сухое вино. Но ниточка все же остается, хотя и нет уже у Фула уверенности, что и для нее она существует. Это как непроверенная страховка — вот он, трос, но страшно за него ухватиться — ведь неизвестно, закреплен ли другой конец.

(Излишне сентиментально. Сократить.)

Стриженная девушка Ира с большими карими глазами (лишь на долю секунды подняла она их на Фула) ни на кого не глядит, шелкает клавишами магнитофона, ищет какую-то песню, и вот — «Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому краю». До конца песни все сидят молча, но как

только гаснет в шорохе ленты голос певца, Андрей говорит решительно:

— Ира, будь добра, выключи, пожалуйста, иначе нам не поговорить. Я этого джентльмена уже с полгода не видел, хочу послушать, как он нынче молчит.

Он расставляет на столе чашки с отбитыми ушками и садится, оставляя рядом с собой место для девушки. Она осторожно придвигает свою табуретку, разглаживает на коленях простенькую узкую юбку и бросает быстрый и тревожный взгляд на Андрея. Так-то, Фул, «не хватайтесь за чужие талии». Выходит — не вовремя они с Лехой, и она — не просто знакомая Андрею, но почему же тогда надежда и ожидание промелькнули в ее глазах, когда смотрели они друг на друга такую долгую долю секунды?

— Фул, очнись, — это Леха торопит, горит во вчерашнего.

Фул вытаскивает из сумки бутылку водки, «Эрети» и круглый ржаной хлеб — на другую закуску не хватило денег, но зато в сумке еще многообещающе звякает. Он не смотрит больше на девушку Иру, боится расстроиться, с ним это бывает. Тогда начнет обгонять всех, пить водку полными чашками, пока не уснет на стуле, свесив голову на грудь.

Сидящие за столом люди, эта непривычная обстановка отдаляются и искажаются, как в перевернутом бинокле. Странно все это. Сегодня Фул не пил еще ни глотка, а почти ничего не слышит, да и не пытается слушать. После первой чашки чувство отчужденности проходит, его сменяет ощущение блаженной созерцательности. Андрей говорит что-то, похихатывая сочно, Леха хмыкает в ответ односложно, чашки наполняются снова, и Фулу хорошо. Просто хорошо, и все. Он не слушает разговора, не разглядывает фотографии на стене, хотя и отмечает про себя, что там много обнаженной натуры, — просто сидит и курит. Пока он относительно трезв, малознакомые люди его почти не интересуют, даже самые замечательные. Но Фул ценит их — умных незнакомых людей. При них можно расслабиться, отключиться даже, если, конечно, не с глаза на глаз. И слушать себя, погружаясь медленно в мягкую, как вата, отстраненность, забывать тревоги свои, горести и муки. Отстраненность эта ложится под ногами ровной и голой степью, но не тоску она

вызывает в душе, а хмельное чувство свободы, и хочется бежать, путаясь в травах, к далекой линии горизонта, где ни одна деталь не останавливает глаза, и лишь где-то в недостижимой дали выныривает наконец из-за голубеющего кургана пыльная грунтовка, по которой катит неслышно грузовик, и таким близким и дорогим кажется он, что верится — самый лучший твой друг сидит сейчас там за баранкой и надо его непременно догнать, но грузовик пропадает, и только полоса взвешенной в воздухе пыли долго еще стоит над степью, а шелест трав заглушает вечные негромкие песни кузнечиков. Картина эта завораживает Фула, и он не замечает уже течения реального времени, как древний языческий идол над безмолвной равниной, для которого и час, и столетие — лишь мгновение вечности.

Откуда эти картины в памяти Фула, никогда не видевшего степь? Сашкины ли рассказы в промежутках между хмельными затяжками, его воспоминания о рискованных южных поездках за коноплей или какая-то необъяснимая атавистическая память о забытой прародине далеких предков?

Сигарета догорает в руке, жжет пальцы, позвякивает о чашки горлышко бутылки. И так хорошо, что сидит рядом эта чужая незнакомая женщина, от которой нечего ждать, но все же она волнует своим молчаливым присутствием, ее женское магнетическое поле не отпускает Фула даже в его степных грезах. И хотя знает он, что она — не Та, но ведь всякая женщина — посланница, вестница той, о которой еще столько предстоит думать горячей Фуловой голове!

Но сейчас он ни о чем не будет думать. Все хорошо, водка хороша, хоть бутылка уже и на исходе, и «Эрети» тоже будет хорошо, там еще есть, в сумке. Кажется. И ребята прекрасные за столом, не трогают Фула, не орут, беседуют чинно, и женщина по имени Ира молчит, потягивая вино, — она вроде как вообще в стороне, пьет сама, сама себе наливает, внимания к себе не требует. Замечательная женщина. Да, так есть ли там еще? Фул нагибается и только тут замечает, насколько уже пьян. Попытку поднять сумку приходится оставить, он снова выпрямляется на стуле и подает голос:

— Леха, там вино у нас еще осталось? — голос какой-то чужой, сильный.

Андрей с Ирой смотрят на него с удивлением, а Леха улыбается понимающе:

— Что, дорогой, опять витаешь? Мы уже давно Андриюшину перцовку пьем, ты разве по вкусу не заметил?

Фул остолбенело таращится на Леху, потом заглядывает в свою чашку. Она до половины наполнена красноватой жидкостью. Теперь только Фул чувствует острый запах перцовки и радостно улыбается:

— А-а! Я-то думаю — почему это сетку с пола не поднять! И сколько мы таких пахучих уговорили?

— Эта — вторая. И последняя. К таксистам идти — денег нет, — отвечает Андрей и виновато разводит руками.

— Да что ты, мне хватит, я не к тому, — бормочет Фул и, вспомнив, что давно не курил, рассеянно шарит по пустым карманам.

— Сигареты тоже кончились, — замечает его движение Леха и добавляет: — Давай, Фул, допивай свою амброзию и поднимайся. Пора нам с тобой проветриться, а там видно будет.

Неожиданно резкий дребезжащий смех раскалывает тишину комнаты. Это Ира. Ее лицо странным образом морщится, огромными кажутся желтые прокуренные зубы и пугающим — черный провал в верхнем ряду, где не хватает как минимум двух. Она смеется визгливо, жутко.

— Да он же меня зачем привел?! — кричит она. — Зачем он меня привел, умники?! И зачем я с ним пошла, вечер убила, где я теперь пьяная зарабатую?! Денег у него нет! Сволочи!!!

Крик ее переходит в истерический плач, потолок опрокидывается, лицо Андрея вытягивается в бесконечную узкую ленту, квадратный белый фонарь гаснет, высасывая из комнаты свет, в темноте теряется Леха, и сам Фул исчезает куда-то, сливаясь с фотографиями на стене, и вот уже его спина удаляется в бездонной перспективе разрушенной галереи, и красные стрелки подорожника дрожат, распрямляясь и пряча его след.

Рыдающая от бессильной обиды женщина — забыли о ней, не нужна никому — остается в красном луче среди пугающей пустоты, неловко сдвигнув колени и согнувшись в плаче, словно от удара в живот. Из раскрывшейся сумочки падают на пол живые мелочи — рецепты, булавки, мелкие монеты, таблетки без упаковок — и раскатываются, разлетаются вокруг, исчезая в темных углах.

Ты объясняешь теперь промелькнувшее в ее глазах ожидание иначе, убеждаешь себя, что не участия ждала она, не помощи, но ведь знаешь же сердцем, что не так все, и что то первое мгновенное чувство и было истинным, и ты, заметивший эту искру, только ты, мог увести ее, утешить, отогреть и разделить ее боль, но вместо этого — замкнулся, отрешился, смежил безразличные веки и пролетел мимо в облаке обманчивого покоя, как и тогда, в баре, когда оставил у стойки доверившегося тебе одинокого человека.

И теперь, когда боль женщины хлынула неостановимым потоком, ты пожалел своей нерастратченной любви, переступил и осудил. Кто дал тебе право судить? Лучше себя почувствовал, чище, но чем ты лучше ее?

Интернат помнишь? Ты украл, Фул.

Бравада ли, скука или глупый протест были причиной — не все ли равно. В соседнем блоке, у девочек — это через окно туалета на крышу пристроенной столовой, а оттуда опять же через туалет в девичий корпус — ты стащил шерстяное одеяло и на вырученную за него на рынке пятерку напился красного с друзьями из ближних барачков. Строения эти, поставленные наспех после войны, подступали к подножию кирпичного здания интерната со стороны речной долины, или вернее огромного оврага, вырытого в песчаном грунте невеликой, но упорной речкой Неглинкой. Бараки стояли на дне оврага, у самого ручья. К интернату, возвышавшемуся на краю обрыва, вела снизу длинная деревянная лестница. Непросто было подняться по ней после двух-трех стаканов бормотухи — сколько шишек и синяков заработано было на скользких ступеньках за последнюю школьную зиму, когда пристрастился ты к дешевому зелью. Интернатские годы не светлее оказались постылой жизни в грязном и пьяном поселке, которой так не желала тебе мать, добиваясь направления после поселковой восьмилетки не в райцентр, а сюда, в город.

Но ты отвлекся, Фул, ни к чему сейчас воспоминания о вытоптанном и усыпанном битым стеклом пяточках под ракетами, о слезливых разговорах по душам и стихийных стычках с городской шпаной. Уж не думаешь ли ты свалить часть своей вины на пресловутую среду, на приклатенных дружков, не оправдания ли ищешь? Какие могут быть оправдания! И все же — с нена-

вистью и едва сдерживаемой яростью выслушивал ты витиеватые разглагольствования Первовского, всего неделю назад угощавшегося все в той же укромной долине раздобытым своими подлипалами яблочным. Не ему было судить тебя, но ты молчал, помня о долгих разбирательствах, когда виновными в пропаже чуть не признали несчастных девчонок из той злополучной комнаты. И только спасительное предчувствие презрения к себе толкнуло тебя к признанию вины, не позволило оправдывать собственную подлость двуличием Первовского и заставило выслушать молча все его унижительные речи, как не претила тебе его судейская мантия.

(Просто гениально! Покаяться в грехе и остаться все же благородным: заниматься самобичеванием в надежде на сострадание публики. Истинный монах, что тут скажешь!)

9. Альберт Петрович

— **А** Павел! Заходи, рад тебя видеть.

— Здравствуйте, Альберт Петрович. Я, кажется, не вовремя?

— Что ты! В этом доме любой гость всегда вовремя! А тем более молодежь, это нам, старикам, особенно приятно. Ты, наверное, по моему лицу заметил, что я не тебя ожидал увидеть за дверью? Угадал. Вот вместе и подождем. Раздевайся, проходи в гостиную. У меня сегодня вечер активного отдыха, — приветливо усмехнулся хозяин.

Ты долго возился с вечно заедающими замками сапог. Зачем пришел? — а Бог его знает, ноги принесли — так ты себе говорил. День, мол, такой бестолковый — понедельник, в театре выходной, а денег, как назло, ни гроша. В голове чувство невесомости, во рту, как Гурон говорит, — кошки насрали. Опять ощутив этот гадкий привкус и легкую, но устойчивую тошноту, ты снова начал объяснять себе, зачем ехал со своей окраины в центр (ты хоть помнишь, что жил тогда еще с женой и дочерью?), зачем поднялся на пятый этаж старого дома, где пролеты не чета тем двухметровым, к которым привык уже в своем микроболюте. Сработал, дескать, все тот же автопилот, который приводил тебя в бессознательном состо-

янии в тепло своего или чужого дома, не оставляя мерзнуть на скамейке парка, уводил торопливо из закрывающегося бара подальше от греха и от спящих по городу в ночные часы «хмелеуборочных». А сегодня топливом для автопилота было желание опохмелиться. *Но ведь знал же, знал (в кармане-то что?), зачем едешь, иначе не оправданием было бы такое желание, а препятствием непреодолимым — стыдно все же с такими мыслями к приличным людям, так что для себя у тебя одна причина была, а для него — другая.*

— Ну, где ты там? — поторапливал Альберт Петрович. — Я уже коньячок разлил. Ты, верно, замерз в такую-то погоду? Надо же, целую неделю метет! А мы вот с тобой пурге назло и согреемся!

И как же это он сразу твое тайное оправдание раскусил! Голос у Альберта Петровича приглушенный, ласковый. Может, это тяжелые портьеры из мшисто-зеленого бархата делают его таким? В покойном доме Альберта Петровича даже твой сильный голос звучит благородно и мягко — все резкие звуки скрадываются старинной массивной мебелью, дорогим ворсистым ковром на полу и множеством чудесных вещей, словно родившихся в этой несегодняшней обстановке.

Ты здесь не впервые, но в прошлый раз, когда вы заходили с Ольгой, приятельницей Альберта Петровича и твоей знакомой по театру, все внимание было приковано к видео, которым наряду с черным кофе и французским коньяком потчевал гостей хозяин, и ты не разглядел толком картины в тяжелых резных рамах и китайские безделушки на полках, не обратил внимания на тот особенный аристократический дух, который привычно ассоциировался с потомственной интеллигенцией, с книжной культурой. А теперь ты сидел околдованный мерцанием свечей в бронзовом канделябре на низком дубовом столике между двумя глубокими креслами и вытирал о колени потеющие от волнения ладони. Ты ждал прикосновения к желанному, до сих пор недоступному тебе миру, и откупоренная бутылка коньяка, на этот раз армянского, тарелочки с бутербродами и золотистыми ломтиками лимона на полотняной салфетке напомнили тебе голландские натюрморты, виденные однажды в дорогом альбоме в одном странном доме.

После первой рюмки хозяин ушел на кухню готовить кофе, а ты поднялся с кресла и, с трепетом

прикасаясь пальцами к корешкам, стал разглядывать длинные ряды книг на открытых полках темного дуба. Новых книг было мало — больше довоенные и дореволюционные издания, в основном поэзия. Константин Бальмонт, Игорь Северянин, Осип Мандельштам. Прижизненные сборники, изданные в Берлине и Париже собрания сочинений. Чудные сказочные книги, о существовании которых ты только слышал, — все в том же странном доме, где пьяная полураздетая хозяйка читала наизусть Велимира Хлебникова, закусывая «Стрелецкую» настойку маринованным огурцом. Тебе хотелось взять с полки старую книгу, полистать пожелтевшие и жесткие от годов страницы, но ты не решался, священный трепет удерживал твою руку: быть может, к этим книгам прикасались руки самого автора, его друзей и любимых.

— Что, Павел, любишь поэзию? — в комнату вошел Альберт Петрович с кофеваркой в руке. — Я слышал от Ольги, что ты и сам немного рифмуешь? Принес бы почитать, может быть, я чем-нибудь смогу помочь.

Вот и все, Фул, раскрылись твои карты, и от неожиданной незащищенности своей ты растерялся, забормотал:

— Да что вы, спасибо, ни к чему... Ерунда это все, — ты смущался как школьник, застигнутый на уроке с любовной запиской.

Но не потому ты отказался, что не верил Альберту Петровичу, а скорее наоборот — очень уж беспомощными показались тебе в этот миг собственные стихи среди этого великолепия корешков. И листки, измявшиеся уже в кармане пиджака, навеки утратили надежду лечь на огромный стол Альберта Петровича, рядом с его собственными стихами и поэмами.

А что ты знал тогда о хозяине дома, поэте, лауреате? Что известен он в республике, что даже в Москве вышли его сочинения в двух томах — и все? Ведь ты даже не читал его, а пришел к нему как к Мастеру — откуда такая доверчивость, наивность в твоих нигилистических мыслях? А может, и не наивность вовсе, может, все-таки сознавал ты, что затеял, и прятал старательно свою подленькую мыслешку до поры до времени? Так что же тогда остановило тебя? Ведь ты уверен был, что Альберт Петрович не из тех, кто и Маяковского знает лишь как автора «Стихов о советс-

ком паспорте» и на этом уровне берется разглагольствовать о высоких материях. Ты ждал от него слова спокойного, разумного.

Альберт Петрович, словно читая твои мысли, попросил тебя вполголоса:

— Будь добр, Павел, подай мне, пожалуйста, вон ту книжку с красным корешком, справа на четвертой полке. Правее, правее. Ага... Давай, — и, взяв в руки тоненький сборник, хозяин устроился поудобнее в мягком кресле, отгибая белыми нежными пальцами обложку.

— Цветаеву любишь? Поразительно девичье имя — Марина Цветаева. Ты только вслушайся — в нем и целомудрие непорочной девы, и какая-то волнующая чувственность, шарм. А? Не находишь? — И Альберт Петрович наполнил маленькие фарфоровые чашечки отстоявшимся кофе, налил в рюмки и тут же, опустошив свою, вдруг протянул книгу тебе:

— Возьми, Павел, это «Стихи Блоку», двадцать второй год. Да ты не торопись, дома почитаешь. Что так смотришь удивленно? Да, да — бери домой, читай, наслаждайся. Я ведь не зря шестой десяток небо копчу — научился людей различать. У тебя эта книга сохраннее будет, чем у меня самого. А принесешь, когда начитаешься, не торопись.

— Альберт Петрович! Я право... что и сказать, — это твой голос, Фул, благодарный, униженный — ну зачем?! — Спасибо, Альберт Петрович, я верну обязательно, через недельку принесу!

— Через недельку не надо. Знаешь почему я тебе эту книгу предложил? Статья одна мне о ней напомнила, сегодня прочитал. Ты знаешь, интересные вещи там пишут о Марине.

Вот тут-то и застрял коньяк у тебя в горле! Как?! Марина?! Неужели и этот? Есенин — Сережа, Высоцкий — Володя... А может, оговорился? Но нет — это растянутое безударное «а» — Ма-рина, — к чему, ведь не москвич, всю жизнь на севере прожил. Ладно, ладно, Фул, успокойся, мелочи это, да и коньяк опять же — чей коньяк-то пьешь, а? Но ты уже тогда бросил меня одного, ты обманул меня, выдав стереотипный образ — бородка клинышком, свечи, дубовый стол — за приметы Писателя. Весь этот аристократический быт — ведь это давно было, давно же и выродилось, и не армянский коньяк пьет сегодня настоящий художник! Фул, зачем ты заманил меня сюда и оставил теперь наедине с Альбертом Петровичем, ведь я

не сумею сказать ему что думаю, измучусь только от своей нерешительности.

Но что мне оставалось? Ты смылся, опять предоставив мне расхлебывать заваренную тобой кашу. Я раскурил погасшую сигарету, откашлялся и спросил с наигранным интересом:

— И что же пишут? Подробности биографии или собрание сочинений издавать собираются?

— Что ты, Павел, в восьмидесятом году ее двухтомник вышел, почти одновременно с моим. М-да. Ей, правда, подольше ждать пришлось, но что же делать — она ведь и знать не хотела, что им нужно. А это дело тонкое. Переборщишь — читатель не примет, недодашь — цензура не пропустит. Тут мера нужна. Вот ты, конечно, о любви пишешь, к тому же верлибры, наверное? Ну вот! Объяснять я тебе ничего не стану, еще не так поймешь, но советую почитать сборники современной поэзии, да без предубеждения. Да, так я о статье. Нет, там о другом совсем речь. О преклонении Марины перед Блоком, о какой-то особенной любви даже. Она ведь всю жизнь к нему тянулась, да так им и не суждено было встретиться. А знаешь, Николай, мне за Сан Саныча обидно — такая женщина!

Альберт Петрович снова наполнил рюмки, снова торопливо опустошил свою и опять заговорил. Он был уже навеселе, на высоком гладком лбу его выступили бусинки пота, в глазах появился масляный блеск, а губы в свете свечей казались окровавленными. Я смотрел на него и не понимал, как мог Фул привести меня к этому человеку. Нет, не слова его так раздражали меня, а эти губы, вкрадчивая интонация, в которой угадывалось что-то неприлично-гаденькое, это возбуждение, охватившее хозяина роскошной квартиры. Правда, он выпил при мне четыре рюмки, да и бутылка стояла уже початая, но не коньяк искрился сейчас в его глазах — то была истинная сущность Альберта Петровича, лишь высвобожденная алкоголем изпод аристократической шелухи.

Он все говорит и говорит о Марине Цветаевой, о том, что видит своими жадными глазками за ее строчками, а в моих слезящихся от прошлой бессонной ночи глазах стоит уже другая картина — неубранная квартира с жирными пятнами на обоях, окурки и пустые бутылки на полу, а на ветхом продавленном диване — фантастическая группа очень разных людей, освещенная лишь

крохотным тусклым ночником. Мигает зеленая лампочка магнитофона. Юная нимфа с распущенными, до пояса, волосами декламирует вполголоса что-то из Надсона, а чья-то рука из сумрака за ее спиной вползает по бедру под платье и замирает там в напряжении. Девушка не замолкает, только закрывает глаза, а сидящие и полулежащие рядом люди говорят негромко о своем. Иногда полусонное бормотание нарушают яркими всплесками сочные изощренные маты, звучат пьесы Джорджа Гершвина, и я не понимаю уже, где эта прекрасная музыка — там или тут, и мне гадко, но пересилить себя, уйти — я не могу, и вот сижу, киваю, и пью дармовой коньяк!

— Ну, бог с ним! — резко обрывает себя Альберт Петрович. — Налей-ка, Павел, еще. Спасибо, милый.

Он пьет, глядя на меня, но я ничего не могу ему сказать, и он улыбается криво:

— Что-то ты поскучнел. Утомил я тебя своими литературными разговорами. А ведь хотел рассказать одну веселую историю. Заболтался, старый писака... Ты знаешь, почему у меня сегодня такой интим? Думаешь, я каждый вечер так сижу? Что ты! Вот послушай. Проснулся я утром — вроде температура. Вызываю врача. И представляешь, является через пару часов эдакая очаровательная белокурая фея лет тридцати и велит раздеваться. Оказалось, наш участковый заболел. Мы с ней очень мило поговорили, она девушка развитая и в смысле взглядов, и вообще. Да и кольца, вижу, нет. Отчего бы, думаю, не попробовать? Я ей — поскольку, мол, болен, то в театр не приглашаю, но на чашечку кофе и хорошую музыку с удовольствием, если, конечно, барышня считает возможным. И ты только подумай — договорились! На вечер, на семь часов. Ага... Будь добр, спички подай. Спасибо. Да, приходит вечером, а платье на ней — Париж! Я коньячок разлил, рюмочку выпил, смотрю — она не пьет. Ну надо же! Включил музыку, пригласил на танец, а платье-то — ну как тут устоишь!

Глаза у Альберта Петровича совсем пьяные, мутные, но в красном лице возбуждение от своего рассказа.

— Короче, поторопился. Возмутилась — страшное дело! Сразу за сумочку, я — извиняться. Ни в какую. Вызываю такси, провожаю до машины, ручку целую, как положено. Простила, обещала в

субботу зайти. Но — машина-то уже ждет. Так и уехала. Возвращаюсь домой — свечи горят, коньяк, интим! Зачем мне это одному, скажи, пожалуйста? Расстроился, три сигареты выкурил, пока сообразил Ирме позвонить. Так, мол, и так, весь день о тебе думал, не могу больше терпеть нашу разлуку, давай встретимся. Женщины слова любят. Скоро будет. Сейчас мы с тобой еще кофейку выпьем, чтобы мне малость взбодриться, и все будет о'кей.

Я кладу Цветаеву на столик (завтра же, протрезвею, всполошится, испугается за бесценную книгу) и иду в прихожую. Игривый звонок останавливает мою протянутую к куртке руку, я хочу позвать хозяина, но тот уже на кухне гремит кофеваркой и наверняка не слышит, и я сам открываю дверь.

На пороге стоит красивая полноватая женщина и улыбается мне кокетливо. Я смотрю на ее едва намечившийся второй подбородок и вспоминаю: как это говорил Альберт Петрович, когда рассуждал о поэзии? Кажется, так: мужчины только говорят, что им нравятся сухое вино и стройные женщины, а на самом деле они любят водку и толстых баб... Ну что ж. Я бормочу что-то женщине, то ли здороваюсь, то ли извиняюсь, хватаю с вешалки куртку и в незастегнутых сапогах бросаюсь по лестнице вниз. Уже на площадке третьего этажа меня догоняет голос Альберта Петровича:

— Что ж ты так заторопился, Павел? Не забудь мне стихи свои принести — попробуем куда-нибудь пристроить, если, конечно, ты меня правильно понял.

Я не отвечаю, я бегу вниз, перепрыгивая через ступеньки, и даже спертый воздух лестничной клетки кажется мне послегрозовым озоном в сравнении с духотой писательского дома. Скорее, скорее — на мороз, на набережную, к бескрайней снежной равнине, тонущей в жутковатой своей свободой черноте. Но вот уже и первый этаж позади, но лестница не кончается и выхода наружу нет. Марш за маршем я спускаюсь все глубже, и на одной из площадок встречаю моего Фула, и, простив и доверившись ему, затихаю под его вязаным свитером, а он подходит к железной двери с засовами, отпирает ее и осторожно переступает порог.

... Я знаю, он давно поднимался по темной и грязной лестнице мне навстречу. Сердце его стучало лихорадочно, и рука, в которой был зажат камень, дрожала. Он вжимал голову в плечи, словно жизнь его зависела от того, коснутся ли поля потрепанной шляпы края поднятого воротника длинного черного пальто. Зловещие тени мерещились ему во мраке, но тоненький луч тянулся откуда-то сверху, и не грядущего он боялся, а — прошлого.

Зачем-то ведь он свернул на эту темную лестницу, оставив позади тот страшный сырой коридор, залитый неоновым светом, от которого лица идущих кажутся посмертными гипсовыми масками. Провал в крепкой каменной кладке был совсем невелик — Фул еле протиснулся в него, но ему показалось, что кто-то отделился от общего потока и последовал за ним неслышными кошачьими шагами. Но нет, эти бледные лица, окружившие Фула, — лишь призраки, и он прижимал их рукой к стене и ощущал шероховатую кирпичную поверхность. С каждой ступенькой уничительное, мутное чувство страха отпускало его, луч становился шире и ярче, и он уже улавливал в воздухе запахи трав, и песня жаворонка звучала между гулками ударами крови в висках.

И вот эта дверь, из-под которой все — и свет, и запахи, и животворные звуки. Она тяжела, эта окованная ржавым железом дверь, но скрип ее кажется Фулу музыкой, потому что видит он вдруг под своими ногами уходящую к горизонту цветущую степь. Первозданный простор ее вселяет надежду, и верится Фулу, что бродят по ней неприкаянные души, спутавшие времена и пространства. Быть может, где-то вдали, за теми едва приметными холмами, бряцая доспехами, шагает тяжело усталое воинство, и солнце играет на помятых и исцарапанных в сечах шлемах, а над ратниками, в дрожащем облаке миража, скользит неслышно Летучий голландец, влача за собой оборванные шкоты и лохмотья изъеденных солью парусов. Или мчится зарослями полыни волчица Акбара, катается по земле в диком восторге, и не ревет еще в небе над ней страшные смертоносные машины, не стелются травы под вихрем, поднятым их грозными лопастями.

(Ну, наконец-то. Волк. Вот почему эти степи по всему тексту! Изящная ассоциация на роман

Гессе? То-то я гадаю всё время — чьё влияние? Смелая и, разумеется, неудачная попытка диалога с классиком. Путь в возвышенный мир духа есть путь страданий и одиночества, и именно этого Фул боится так же, как и те другие, что стоят вдоль стен коридора. Гессе видит два выхода: одиночество и страдание (степной волк) или юмор, ирония (компромисс). Фул не приемлет второго варианта (или просто не видит) и поэтому остаётся до конца нерешительным ханжой, который не умеет смеяться.)

Но не спуститься туда — расшибешься, слишком крут обрыв, а белые скалы хищно обнажили свои клыки. Солнце заходит, красное небо съеживается и, втиснутое в раму окна, гаснет, замутненное клубами плывущего по комнате табачного дыма...

10. Аурелиано Буэндиа

«Крик последний, — ты хоть — о том, что горю, в столетия выстони!» — голос Евтушенко бьет словами собрата наотмашь, хлещет и растекается, как морская волна, и глубоко проникают ледяные и жгучие брызги слов, но Фулу кажется, что вот здесь не так и вот тут надо бы подружому. Да нет, не судья он ни чтецу, ни поэту. Пластинка кружится, голос рвется из тесной коробки динамика, площади хочет, простора. Слушая, Фул мучительно тоскует, и опять от внутреннего напряжения у него потеют ладони. Рядом — Леха. Тот спокойнее, смотрит на Фула, слегка прищурившись, и курит. Он знает, о чем тоскует Фул, но помочь ему не может.

Мария? Нет, Фул, это у Маяковского, а тебе — некого просить о помощи, не к кому стучаться, моля и проклиная. И нет для тебя мудрого слова. Да и от кого его ждать, слова? От какого бога — христианского, марксистского?

*Я думал — ты всеильный божнице,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик...*

Евтушенко смиряет свой пыл и читает тихо, почти вкрадчиво: «Вселенная спит, положив на

лапу с клещами звезд огромное ухо». Шипит игла, скользя к центру пластинки, глухо щелкнув, подскакивает звукосниматель, и незаметный ранее гул усилителя заполняет притихшую комнату. Несколько минут проходит в молчании, наконец Леха встает, выключает проигрыватель и неожиданно зло говорит:

— Вот так, дорогой. Художник всегда один, был и будет. И не лепи ты мне об обстоятельствах. Чего ты ждешь? Лучших времен? Не будет тебе лучших времен! Тебе всего двадцать три, а ты лепечешь о том, что годы уходят, чуть ли не жизнь прошла. А может, ты знамения дожидаясь? Или думаешь, что хорошая компания тебе поможет? — ухмыляется Леха, освобождая угол испачканного конопляным лаком стола.

Пока Леха нарезает хлеб и откупоривает бутылку, Фул успевает собраться с мыслями, чтобы ответить:

— Поможет, Леха, поможет. Вот только, к сожалению, все не та компания попадается. Без хороших людей нельзя!

— Пить нельзя без хороших людей — скучно. А работать можно. Я теперь знаю, что делаю. И зачем — знаю. Раньше мучился — что бы такое сделать, чтобы купили и чтобы не против совести. А теперь я сам себе судья. Не купят — не надо. Мне и моих дворницких хватит.

(Идеалистическая декларация. Разве не для того делается все искусство, чтобы его кто-то покупал?)

— Тебе хватает. А у меня дочка растет.

— Так что же, писать она тебе мешает, а пить не мешает? — взрывается Леха, не понимая еще, что говорить больше не о чем, что подписана уже Фулом безоговорочная капитуляция.

— Леха! Ты это брось, нам с тобой такие разговоры вести ни к чему. Мало ты сам пьешь?

— Верно, — ухмыляется Леха. Успокоился — понял, значит. — Не мне судить. Но у меня-то нет семьи! Денег нет — друзья накормят. Ладно, это уже не разговор. Налей. Я тебе показать кое-что хочу.

Леха встает и направляется к двери, Фул видит его крепкую шею, мощный, коротко остриженный затылок и снова чувствует себя как в попавшем в воздушную яму самолете. Леха уходит, ухо-

дит неправдоподобно медленно, как в замедленной съемке, дверь перед ним открывается, его тяжелая фигура удаляется по разбитой проселочной дороге в глубь ночного заглохшего поля, нарисованного прямо на противоположной стене. В черной пустоте, поглотившей горизонт и бегущую к нему дорогу, горит звезда. Леха уверенно идет на нее, словно цель его лишь в нескольких часах пути, — идет размашисто, не сберегая сил, ступая твердо и не оглядываясь. Эполеты рассыпают по его плечам золотую бахрому, длинная тяжелая сабля бьет по голенищу, и меловой круг, словно упавший не землю нимб, уносит полковника Аурелиано Буэндия в страну печали и одиночества, пока еще не осознанного им.

Не догнать Фулу друга, не осилить пути, да и куда ему с ущербной душой, со слабостью и неуверенностью своей? Растерянный, Фул остается на стуле, я вижу его расширенные тоской глаза, и мне кажется, что это неверные линзы слез сделали его зрачки такими большими. Но я оставляю его, оставляю, чтобы идти дальше, искать хоть малой толики свободы, ветра, той степи, что ускользает от меня, маня серыми глазами своей единственной жительницы. Я поворачиваюсь к Фулу спиной, чувствую затылком его умоляющий взгляд, но толкаю дверь и выхожу.

11. Ночной пассажирский

Что такое? За дверью — заплеванный тамбур. Зачем я здесь? За окном проносится непроглядная октябрьская ночь, и ни один огонек не мелькнет, чтобы подсказать мне направление движения. Поезд мчится по длинному перегону — скорость велика, вагоны бросает из стороны в сторону. С грохотом открылась дверь перехода, лязгнула железной ручкой по стене и осталась болтаться, взвизгивая петлями. Мне холодно и страшно, и я не понимаю, откуда я здесь, почему... Но в тамбуре соседнего вагона — я вижу это сквозь мутное стекло — курит женщина. Сердце напомунает о себе навалившейся одышкой, я уверен — это она, иначе не стоял бы я здесь, не было бы этого ночного поезда, этой тьмы за окном и колючей тревоги. Она резко отворачивается, и я вижу лишь мерцающую в свете тусклого фонаря шапку русских волос.

Я дергаю низкую ручку успевшей захлопнуться двери, нажимаю вниз что есть силы — как нехстати заклинило замок! Когда дверь поддается, ее уже нет в тамбуре, я врываюсь в следующий вагон и бегу по проходу, заметив в другом конце ее удаляющуюся фигуру. Темный вагон пуст, только стоят на столиках порожние бутылки и разбросаны кругом бумаги, фантики, пробки. Звон бутылок сливается в дребезжащий гул, вот одна из них выкатилась в проход, под ноги — она стояла под столом, в темной нише, дохнувшей мне в лицо холодной безличной угрозой. Странная проводница с восковым лицом пытается загородить мне дорогу, кричит что-то о билете, о документах, но я пробегаю сквозь нее, ощутив лишь запах мела, и снова врываюсь в тамбур. Опять переход, и вот уже новый вагон, на этот раз купейный, стелет мне под ноги ковровую дорожку, а я успеваю заметить только хлопнувшую в его конце дверь...

Я слышу лязг открывающихся купе, чувствую спиной полные ненависти взгляды, вслед мне летят злые окрики, а искаженные мерзкими гримасами лица обгоняют меня и касаются моих щек, словно крылья ночных мотыльков. И я вспоминаю ту страшную ночь в коридорах литинститутского общежития, когда метался от одной закрытой двери к другой, с устрашающим постоянством преследуемый бражником «мертвая голова». Я убил его, но от этого не стало легче, в моем воображении роились десятки бражников и смеялись мне в спину голоса в пустом коридоре.

(У автора есть, конечно, право использовать в тексте всё слышанное, но этот эпизод я сам рассказал автору, который никогда не учился в Литинституте.)

Но тогда впустил меня человек в свою щедрую душу, и двоим нам уже не страшны были рои серых мотыльков с человечьими черепами на спинах, а сейчас? Успею ли, догоню ли, или хохот катающихся по полу пустых бутылок нагонит меня прежде, и ковровая дорожка опутает мои ноги красным полосатым удавом.

Окошко в следующем тамбуре настолько грязно, что разглядеть сквозь него что-либо невозможно, и я распахиваю запыленную дверь, лишь в последнюю секунду успеваю заметить, что под ногами блестят убегающие в темноту рельсы.

Поднимаю глаза — отцепленный вагон отдаляется, из дверного проема мне машет кто-то в картузе и подпоясанной витым шнурком косоворотке. «Колокольчик, дар Валдая...» — декламирует он и машет мне свернутой в трубочку газетой.

Она остается там, за его спиной. По хромовым сапогам я узнаю его — бородатого историка и писателя. Господи! Не спрыгнуть на рельсы, но и оставаться здесь тоже нельзя — сердце выскочит и запляшет по шпалам, как выброшенный из поезда окурочок.

Этот человек в освещенном проеме открытого тамбура почему-то беспокоит меня, я боюсь увидеть опять того мальчика-старика, что сошел на крохотную площадку без выхода между станциями такого глубокого ленинградского метро. Я крепко зажмуриваюсь, сжимаю руками голову и кричу, чтобы заглушить в ушах бесшумный стук колес.

Открыв глаза, я вижу зелень за окном и понимаю, что все это был лишь бред. В громящем тамбуре холодно и накурено. Я отхожу к окну и гляжу сквозь грязное стекло на проносящийся мимо ольшаник. Вагон бросает на стыках, лязгают буфера, в другом углу тамбура — едва различимый в сумраке и табачном дыму силуэт молодого парня. Я присматриваюсь к нему — не слышал ли он моего крика, но нет, он стоит безучастно и совсем не обращает на меня внимания. Я отвожу от него взгляд. Все хорошо. Это тоже сон. Тот самый майский сон, что помнится мне уже многие годы.

Ольшаник за окном иногда редет, тогда к насыпи подползает болото с редкими хилыми соснами. Лес убегает в сторону и огибает болото плавной синеватой дугой. Затем он снова приближается к железной дороге, но остается отделенным от окон вагона густыми зарослями ольхи и березы. Поезд идет на север. Я еду домой, к матери и могиле отца, чтобы снова врать о хорошей своей жизни в городе, о намерениях непременно в этом году поступить, ради маминого спокойствия, в такой необходимый мне — по ее мнению — институт. Я буду два дня колоть маме дрова, поправлять сарай, если успею — просмолю лодку. И будет мне скучно в этом сонном поселке, и, уезжая обратно в город, я снова за час до прихода поезда приду на станцию и в ожидании заранее перенесусь в мир моей муки, от которой и здесь не найду лекарства.

Я знаю, что утром пейзаж за окном изменится — лес смело подступит к несущемуся по рельсам составу, не будет лиственного чернолесья, такого прозрачного, розового и нежно-зеленого весной, болота все чаще станут охватывать дорогу с обеих сторон, корявые низкие сосны взбегут на склоны скалистых сопок. Если просидеть всю ночь у окна, этих изменений не заметишь — даже когда белая ночь своим неверным светом растекается над притихшей землей, но если проведешь беспокойные сумеречные часы на второй полке общего вагона, то увиденное наутро кажется чудом — словно не только в пространстве и времени произошло перемещение, а в чем-то более важном и непонятном для тебя. Что это? Может быть, просто — Юг-Север? Нет, не то. Иной мир, иное мировосприятие...

До Соснового ехать мне еще долго, поселок в самом северном конце нашей дороги. Я смотрю на часы (какие странные часы, у меня никогда не было таких!) — без четверти два. Пора идти спать, иначе наутро будет качать даже на твердой земле. Закуриваю последнюю сигарету. Брошенная спичка шипит в ведре для окурков, в которое кто-то налил воды, а может, и помочился.

Поезд сбавляет ход. Наверное снова один из бесчисленных разъездов, и мы будем ждать встречный рудовоз из сотни с лишним вагонов, который не может поместиться на разъезде и поэтому лихо промчится по главному пути, останавливая встречные пассажирские.

За окном молодой березняк — либо старая вырубка, либо заросшее поле. Как-то неожиданно среди березовой рощицы появляется призрачное здание — белое, с провалившейся крышей, с пустыми оконными проемами. Метрах в тридцати от него я вижу второе, уже побольше, в таком же состоянии. Не видно ни тропинок, ни вытоптанной земли перед домом, только березки, березки да слабенькая молодая трава. Одно деревце проросло сквозь крышу постройки, его ветки скрывают прогнившие балки и остатки битого шифера. Скрежет. Березки останавливаются. Слышится нарастающий грохот товарного, он пронесется с другой стороны. Я не поворачиваю головы, продолжая рассматривать брошенный полустанок. Стоим пять минут. Наконец толчок, наш состав движется. Медленно проплывают мимо штабеля шпал, ржавые рельсы, еще две станции

онные постройки, утонувшие в пелене майской невесомой листвы. А вот и станция — такая же рухнувшая внутрь здания крыша, смытая дождями вывеска, окна без рам. У края полотна стоит молодая грузная женщина с красно-белым кружком в опущенной руке. На ней форменный китель, накинутый поверх цветастого домашнего халата. Мое окно приближается к ней, и я вижу, что женщине этой от силы восемнадцать лет. Ее полные ноги в мягких тапочках плотно сдвинуты, маленький рот чуть приоткрыт. Она обреченно смотрит на уходящий поезд, грязно-зеленый, длинный, лениво постукивающий на стыках. Когда последний вагон проходит мимо нее, она остается на месте, но смотрит не вслед поезду, а прямо перед собой.

На разезде тихо. Следующий товарный с севера пройдет через два часа. Я вижу, как она стоит у насыпи, сжимая в руке флажок, а глаза ее ничего не видят. Я уехал, тело мое мотает в полупустом общем вагоне, а душа осталась на заброшенной станции, и я слышу, как где-то далеко, за сопками, лает лисица. Девушка знает, что это лисица, звук этот привычен для нее, и она не прислушивается. Она стоит еще минут пять, пока не раздастся за ее спиной осипший голос матери:

— Что, совсем сдурела? Опять Петьку проспала?! Иди сюда, дрянь такая! Черт... — и мать кашляет, кашляет...

Она медленно поворачивается на голос. В полуподвальном окошке большого здания горит тусклый свет. Мать там, она ругает дочку за то, что та не спросила у Петьки, проводника четвертого вагона, поллитровку. У него всегда есть в запасе, и частенько дочь берет для обезножившей в прошлом году матери бутылку водки. Мать пьет лежа в постели, закусывает корочкой черного хлеба и оставляет на утро примерно четверть бутылки. Сегодня ее весь день мучили боли в ногах, она ждала ночного пассажирского, целый вечер долбила Саньку: не забудь, не забудь, дурища! Забыла. Проспала. Господи!

Санька подходит нерешительно к освещенному окну, из которого слышится ругань матери. Вся сжавшись и мелко дрожа, она стоит и смотрит на мать. Та приподнялась на подушках и грозит дочери черным узловатым кулаком. Санька плачет, бросает кружок и бежит. Бежит от матери, от станции, бежит в лес, к соснам. Там у нее

есть место, где плакать. Это под старой скрюченной ветрами сосной. Там мягкий теплый мох стелется по скале, вереск, а осенью много брусники. Санька лежит на мхе, раскинув руки, и смотрит в небо. Жгучая влага наполняет ее глаза, она ничего не видит, но не вытирает слез. Она смотрит в себя. Податливый мох и далекий запах лесного пожара волнуют ее. Со стороны всходящего солнца к ней идет пахнувший лесом и дымом парень. Он приближается к Саньке уверенно, он не говорит таких слов, как Петька-проводник... А может быть, это я молча опускаюсь на колени рядом с ней? Сквозь пелену слез она не видит его лица, но чувствует на своей шее его дыхание, колючую щетину, сильные и ласковые руки. Горячая волна пробегает по телу и ударяет в лицо, слезы высыхают, и Санька видит встающее над лесом солнце. Только солнце. Она глядит в его огненный лик и не понимает. Солнце нежно касается ее лба, едва слышно греет сквозь ткань халата грудь и живот. Холодный утренний ветерок перебирает волосы.

Вдалеке гудит товарняк. Санька вскакивает и бежит к разезду. Сосновый подрост царапает ее голые ноги, мох мягко проваливается под домашними тапочками. У станционного здания она поднимает с земли брошенный кружок и выходит встречать рудовоз. Она улыбается.

Неужели все это было только сном? Так подробно я помню детали, вижу ее лицо и руки, даже коротко остриженные ногти с каемкой вьешейся тепловозной копоти. Но если не сон, то откуда мне знать о том восходе, о воскресенье, в которое мать спяну оттаскала дочку за волосы? Вот она, стоит после этого у насыпи и останавливает пассажирский с севера. Поезд медленно тормозит, скрежеща на разбитых тяжелыми грузовыми составами стрелках. Санька стоит неподвижно, подняв кружок в правой руке. Ее волосы спутаны, покусанные ранними комарами босые ноги не чувствуют колючего гравия. Она поднимает глаза и встречается взглядом со мной. Я снова еду на юг и снова курю в тамбуре общего вагона. Я помню ее, хочу сказать ей что-то, но губы мои не двигаются, словно сведенные судорогой. Она смотрит мне прямо в глаза и улыбается с опаской. У нее нет ничего, кроме этих ночных поездов, поэтому она смелеет от встреченного взгляда, и робкая надежда появляется в ее широко раскрытых гла-

зах. Или она узнаёт меня, целовавшего тайком ее омытые слезами щеки? Но с горечью и печалью я понимаю, что девушка эта не заменит мне Ее, ускользающую, и что напрасно я растревожил ее своими снами. Миры наши рядом, но нет между ними сообщения, и я чувствую, что не осушить мне Санькиных слез. От осознания причиненной мною человеку боли лицо мое каменеет. Сострадание, стыд не могут пробиться сквозь холодную маску, и я ненавижу себя.

Она опускает руку, вагон дергается и начинает катиться по рельсам. Девушка медленно уходит влево, но теперь она не смотрит перед собой, а провожает взглядом окно, в котором увидела чьи-то глаза. Проплывают мимо молодые березки, станционные постройки с провалившимися крышами, скорость нарастает, вот уже лязгают на стыках колесные пары, мелькают сосны на пологих скалах, и наконец укутанное туманом болото отрезает от меня печальный разъезд.

Вот и все. Никогда я не видел этих унылых строений, но девушка Санька из майского сна все чаще приходит ко мне, чтобы умоляющими глазами вынуть мое сердце из тьмы.

(Отличная фраза для финала. Весь отрывок, — романтический, символичный и в лучшем смысле слова сентиментальный, — было бы хорошо перенести в самый конец или закончить рукопись на этом. Глава — словно глоток свежего воздуха после душливой атмосферы остального текста.)

12. Кладбище

Разговор может быть только там — на старом полузаброшенном кладбище, окруженном со всех сторон городом, не посмевшим почему-то посягнуть на последние двести-триста метров берегающего кладбище пустыря. Там голубая деревянная церковка тянет свои купола к вершинам облетевших берез, помнящих похороны действительного статского советника Столетова и жены его, погребенной рядом, в той же оградке спустя почти тридцать лет. Литые чугунные кресты давно покосились, но буквы видны хорошо: Анна Степановна осталась вдовой в 26 лет и, увянув незаметно в безрадостной глуши, состарилась и умерла с фамилией покойного мужа.

Гранитные надгробья, чугунные кресты — 1812, 1825, 1837. Можно ли поверить в реальность этих людей, годы жизни которых напоминают даты из школьных учебников? Как далеко это все от Фула, словно за музейным стеклом. Но нет-нет да и шевельнется что-то в душе, и нескончаемое течение жизни, перекаты ее, пороги и тихие заводы, широкие плесы и омуты открываются Фулу. Эта река несет и его к неизвестному морю, и, глядя на противоположный берег, он видит скорбные молчаливые фигуры на песчаной косе, что стоят у столбиков с красными звездами и, вытянув шею, вглядываются в неясную даль. 1919, 1937, 1941. Это деды его и обманутые отцы встречают Фула и ждут от него известий и ответов на свои мучительные вопросы.

Кладбище неухожено — умерли уже дети похороненных здесь, но церковка еще действует, и от того кусочек этой земли в самом сердце города кажется огражденным и от суеты, и от самого времени. Время здесь не застыло — оно шаркает не спеша за сгорбленными старушками к воскресной службе или позвякивает медяками в жестяной коробочке древнего нищего цыгана, привалившегося к церковной оградке.

Только тут можно говорить. Высокое небо над высокими старыми деревьями. В черной паутине ветвей — черные птицы. Их много здесь в безлиственное время — ранней весной и осенью. Вороны, галки? Или вещие вóроны, стерегущие царство забвения? Над могилой отца в Варже не сидят эти птицы — там кладбище укрыто плотным пологом еловых крон, и лишь клест или сойка мелькнут иногда среди седых от лишая лап.

Да, так все и будет! Бездонная голубизна, замершая над желтой от опавших листьев землей, черные гроздьи птиц на кружеве оголенных крон, маленькая чистая церковь на взгорке и чугунная ажурная решетка, к которой можно прислониться, сидя на сухих листьях, ветром наметенных к оградке. И будут они с Аркашей вдвоем — кому же еще поведать о той тоске, которую так долго хранил в себе, не давая ей выхода. Фул не искал себе слушателя, а если б была у него привычка к дневникам, то оставил бы на бумажных листках эту скрытую ото всех боль, грусть об утерянном навеки, и, выплеснув, почувствовал, быть может, облегчение. Но не хватало на это времени, а вернее — нелепым казалось увековечивать свою

бесплодную маету, и вот — накопилось, давление стало критическим, и проржавевшему котлу его сознания уже грозит взрыв. Но есть клапан, последняя надежда — Аркаша.

(Опять прекрасный Аркаша на сцене, к чему бы это?)

Они выпьют, передавая друг другу бутылку дешевого вина, и обязательно найдутся те беспешные и нужные слова, которые облегчат, излечат, воскресят.

Что за сила влечет его сюда, на погост? Могилы ли зовут его или душа истомилась без Бога? Никогда Фул не бывал в церкви, не решался, хоть и звали его приятели любопытства ради, но он считал свое безверие чем-то постыдным. Если бы имел он хоть какое-то подобие веры, хотя бы атеистическую убежденность — но не было ничего, а значит — не было и единоверцев, и одинокой заплутавшей частицей шарахался он в узком бесконечном коридоре. Так, может быть, и не надо искать ответа: не собственная воля, а наоборот — безволие сорванного ветром листа несет его к свету, замкнутые пространства давят и выталкивают наверх, как задыхающуюся рыбу к проруби? Но рыба гибнет после затянувшегося ледяного плена, а ему так хочется жить! Вздохнуть полной грудью, дать глазу вдосталь напиток бескрайностью небосвода, ощутить призрачное и обманчивое чувство свободы — в птицах, березах, вознесенных к небу крестах.

От разговора с Аркашей Фул ждет прозрения, дороги к себе. И для того чтобы объяснить Аркаше, в какой стороне он заплутал, Фул расскажет другу про давнюю свою боль, позор и малодушие, которых не простил ни себе, ни унижившим его. Какими словами сумеет он выразить это, как расскажет о случившемся много лет назад в доме над оврагом? Может быть, вот так:

— Знаешь, Аркаша, я сейчас думаю, что это, наверное, еще Котофей меня сломал, наш директор. Он вел у нас историю и обществоведение в старших классах. Нам тогда казалось, что он улыбается, как Чеширский кот — все шуточки, прибауточки. Правда, юмор у него был какой-то казарменный, интернатовский. Любил так задеть, чтобы весь класс ржал, а у того уши краснели. Теперь-то я знаю, что улыбка у него была Иудушки-

на, ну да я «Господ Головлевых» только после школы прочитал. Он никогда не кричал, но с этой улыбкой мог так унизить, что после бесед с ним многие просто дурели — или начинали цитатами говорить, или стекла в туалетах били.

А потом, перед главным, стоит, наверное, закурить не спеша да помолчать. Аркаша не перебьет — он человек тонкий. Глядя в выцветшее за лето небо, он скажет тихо и нетребовательно:

— Ты говори, говори...

Еще раз глотнув из бутылки, Фул начнет решительно, словно в огонь бросится:

— Девочка у меня была, Анечка. Ну, ты понял, что значит была: вздыхал, взгляды ловил, лепетал что-то бессвязное. Она вроде любовь мою не отвергала. Однажды встретился я с ней на катке. Вообще-то я и до сих пор на коньках не стою — только потому тогда и пошел, что знал: она там каждый вечер бывает. И надо же было Князю, хулигану нашему, меня зацепить! Ну что я ему? Перед Анечкой, конечно, распетушился, как же — герой! Ну и полетел я кувырком под ее залиvistый смех. А Князь удаль свою показал да укатил, в толпе затерялся. Анечка смеется всюю, даже перегнулась. А я похолодел весь, встал, отряхнулся, подъехал к бортику и стал коньки снимать. Спокойно так думаю: найду гада, убью. Она как лицо мое увидела, сразу смеяться перестала. Схватила меня за руку, говорит: «Не надо, Павлик, ты страшный какой-то, я боюсь». Остановила меня, но успокоился я не скоро. И девочка моя — первый человек в жизни — поверила, что я могу поступок совершить. Гляжу — у нее в глазах уже не смех и не страх, а восхищение. Я, конечно, от этого совсем в поднебесье взмыл, решил — теперь все, никакого гадства не потерплю, никогда не унижусь, пусть хоть до смерти забьют. Ради нее решил, но и сам себя человеком почувствовал, словно на голову выше стал. И Анечка со мной гулять стала, в кино вместе ходили, целовались даже.

После этих слов Аркаша обязательно улыбнется, — мол, счастливый ты, Паля, тогда был!

— Еще бы! Счастлив был и горд — все парни завидовали, Анечка красивая была девочка, да и умница.

И не останавливаясь — продолжать, продолжать, пока есть решимость:

— И тут Котофей... Вызвал меня на уроке отвечать по материалам 25-го съезда. Я, естественно,

как и все, ничего не читал. Но другие что-то бормотали о планах, благосостоянии и невиданных достижениях — вот и мне бы так же, но нет: то новое, что на катке родилось, воспротивилось, уперлось, да и Анечка со своей парты на меня смотрела с восторгом. Короче, не стал я отвечать да еще речь сказал: не желаю, мол, заучивать всякую чушь, ну и так далее. Он меня выслушал. Потом говорит: «Выйди из класса, а после урока поднимись ко мне в кабинет». В своем кабинете, подчеркнута спартанском, он учил меня уму-разуму. Ну, сам знаешь: государство тебя кормит, учит, одевает и в таком духе. А под конец добавил: «Оглашать это дело я пока не стану — мать твою жалко, ей ведь за тебя отвечать. Так что считай, что на первый раз тебе сошло. Но прощение нужно заслужить. Я надеюсь, что ты осознаешь свои заблуждения и как настоящий советский школьник выполнишь задание своего учителя». И комсомол приплел, и партию, в общем — весь набор. О врагах сказал, о радиоголосах, а напоследок припугнул какими-то жуткими мерами и сказал, что завтра опять спросит. И я испугался — за себя, за мать, и всю ночь читал и перечитывал в коридоре пухленькую брошюру. А наутро я перед всем классом признал свою неправоту и почти весь урок рассказывал об исторических решениях и семимильных шагах.

— Стыдно было, Аркаша, стыдно и тошно. Уж не знаю, откуда этот страх опять взялся. Первые минуты были сплошной мукой, я видел, как вместо удивления в глазах Анечки появлялось презрение. Потом она уже не смотрела на меня, я видел лишь ее искривленный в брезгливой усмешке рот, и мне было уже почти все равно — я знал, что исправить ничего нельзя. И я продолжал говорить, глядя себе под ноги, — так было легче. В классе было тихо, все чувствовали, что это не просто ответ у доски. На этом все и кончилось — и любовь моя первая, и вера в себя. Было, бесился поначалу, себя ненавидел, плакал, но знал уже, что не пересилю себя, не сумею выпрямиться, и вот — смирился. Не могу я, Аркаша, с тех пор верить и делать! Только жду — даже хотеть нет сил. И одному мне уже не справиться, мне нужна та, что поверит в меня, как Анечка. Но нет ее, Аркаша, нету, хоть и чувствую — близко совсем, только руку протяни... Такие дела.

Аркаша достанет молча флейту из футляра и за-

играет, а церковный хор подхватит эту чудную мелодию, а вместе с ней и Фула, и закружится под ногами желтая земля, и черной вуалью уснувших до весны берез укроется тихое кладбище, протянувшее к небу руки крестов. Равнодушный город вдруг обступит со всех сторон крохотный храм и будет жаться к нему, вытягивая из еловых лесов щупальца своих микрорайонов. А потом и сам город окажется маленьким пятнышком на берегу великого озера, и лишь облако ядовитого дыма и радужное пятно залива будут выдавать присутствие человека.

Но где-то в путанице улиц, под этим зловещим облаком, стоит ее дом, и горит вечерами окно, зажженное для него.

(На свет того окна, между прочим, много кто рулил в вечерних сумерках.)

Закружатся в осеннем небе церковные главки, и древняя песня вынесет Фула в неведомый мир, где чистые и мудрые души шепчут, баюкая: «Павел, милый! Заблудилась твоя душа, и ты живешь без нее, как слепой и увечный. Но потеряв, ты сберег ее, словно в заповедном лесу, в нашем лесу, не изуродовал ложью и слабостью. Теперь же совсем немного тебе осталось, поверь, Павлик. Домучился ты до души своей, вот она — в тебе, в этих ветвях, над крестами, во всем мире разлита».

И уже не бросает меня мой Фул, не спешит удалиться в свою кромешную ночь, и я вместе с ним устремлюсь туда, где разлит этот нежный свет. Словно усталая морская волна, поднимает меня Аркашина музыка, и с гребня ее я вижу вокруг себя новый мир.

Я протягиваю руки навстречу теплу, вера моя безгранична, и вот уже твой призрачный силуэт возникает на фоне залитого солнцем огромного окна в просторной комнате над сверкающим морем. Я не вижу лица, но в несущих тебя лучах я угадываю серые глаза, чувствую их взгляд губами и кожей щек. Шаги твои не слышны, но гулко стучит мое сердце, и многократное эхо разносится над морем, путаясь в шхерах. Первый раз ты не бежишь от меня и идешь наконец навстречу. Но с каждым шагом силуэт твой, просвеченный солнцем, все прозрачнее, и вот уже мои руки погружаются в лучащееся тепло, не встречая сопротивления. Мне больно, грудь прожигает словно пламе-

нем электрической сварки, и я чувствую, что теряю все, исчезаю, остаюсь навечно один. Воды сознания уходят из меня сквозь прорванную плотину и убывают с возрастающей скоростью, сосущей воронкой закручиваясь где-то внизу, под ногами. Мне страшно.

На смену тем водам приходит откуда-то горячая волна живой крови, она бьет мне в лицо, наливает все тело верой и радостью. И не знойная степь, пьянящая ароматами, не далекое море заполняет меня, а родной северный край с его синими сопками, лесами и простором озер. Вдали посверкивают на солнце мокрые лопасти весел, и то ли лодка приближается ко мне, то ли я лечу к ней, но я уже различаю русоволосую девушку, вижу ее простую холщовую рубаху и синий сарафан, заглядываю в грустные серые глаза и замечаю маленький рубчик над левой бровью.

(Женщины хочется, сколько бы ни рассуждал о душе. В этом сентиментальном и возвышенном куске легко узнать Лиду.)

Она поет, протяжная северная песня смешивается с шумом ветра и плеском волны, девушка улыбается мне печально из глубины веков и зовет ласковым взглядом, а я парю над ее суденышком, не в силах опуститься на потемневшую от времени и воды скамью.

Яркое не по-осеннему солнце выжгло небо до бледной голубизны. Ни единого облачка до самого горизонта. Воздух прозрачен, и очертания церкви за ее спиной видны четко, словно в бинокль. Вдоль берега гнутся к воде масляно-желтые березы, их поредевшая листва трепещет в напряжении, ветви распластаны в направлении ветра, швыряющего новые пригоршни золота ненасытному озеру. Густой ультрамарин воды пенится, и белые барашки еще больше подчеркивают ее насыщенный цвет. Мощные тяжелые волны бросают лодку в глубокие пропасти, и сердце мое замирает. Борты лодки дрожат, как бока загнанной лошади, брызги взлетают в воздух и сносятся ветром. В береговых камнях ухают и шипят, откатываясь, напористые валы. У берега они становятся почти желтыми от нападавших в воду листьев. Вдалеке, над вспененным озером, как будто не замечая ураганного ветра, кружатся чайки. Хочется к ним, в круговерть воздуха и воды, в

пронзительную прозрачность осени, хочется вместе вздрагивать от каждого удара в борт, с восторгом и страхом поворачивая лодку навстречу волне, и грести так долго-долго, в свисте ветра и лихой пляске прощающегося со свободой озера, плыть к дальним синеющим берегам, где ждет нас надежная низенькая избушка, но до нее еще долгие часы опасной игры с осенним озером, той безрассудной игры, которая захватывает полностью, не давая думать ни о чем, кроме окружающего прощального праздника стихий и красок.

Я закрываю глаза и с наслаждением вслушиваюсь в шум ветра, в мелодию песни и замирание своего сердца на каждой волне. Я в лодке, сероглазая девушка увозит меня прочь от себя вчерашнего, и в зеркале детства я вижу свое улыбающееся лицо — ветер треплет выжженные солнцем волосы десятилетнего мальчика, он один на белом спящем песке у берега другого, родного, озера, и камыш зелеными лучиками пробивается из воды, а он один во всем этом великом мире, один, но не одинок, а — волен.

Маленький загорелый Павлик бежит по бесконечному песчаному пляжу, опоясывавшему Летний остров, подскакивает и кричит что-то невнятное, не в силах иначе выразить свой восторг. Под ногами — белый, желтый, серый песок, бурый кант намытой волною хвоей и мусора, тонкое ожерелье цветной гальки на самой грани песка и воды, чуть выше — лоснящиеся серебристые коряги-топляки, похожие на сброшенные оленьи рога, а на гребне песчаной косы, где уже цепляются за песок упрямые кустики брусники и вороники, стоит обложенная валунами ритуальная сосна. Доченька! Как бы взять мне тебя в этот мир и вернуть тебе то, что отнято у твоего детства, что так нужно будет тебе взрослой! Ведь и маленький Паля не знает еще, что этот жаркий день, эта лодка, приткнувшаяся в зеленой от кувшинок бухте, — будут в его памяти всю жизнь; он не думает о том, что когда-нибудь это кончится и останется лишь воспоминанием о другой, настоящей жизни, последней связью с потерянными корнями, с древней и простой верой предков в великую силу неба, дарующую земле по прихоти своей то холод, то зной, и в могущество хозяев леса и озера.

Кокора затянутой в песок и распахнувшей сгнившие борты лодки прощается с ушедшим ми-

ром. Невозмутимые волны лижут гладкий песок, выплескивая с пеной свою память о конопляных неводах, девичьих песнях и кровавых военных походах.

Откуда эти луга в окружении дремлющего соснового моря — не было ничего, и стала на этом месте деревня, и люди здесь жили, растили детей, сеяли рожь, воевали за эту землю, и вот — опять ничего, зарастает след человеческий на земле, как случайная царапина на теле огромного спящего зверя. Кто они были, откуда пришли и куда ушли? Да и были ли? Стерлись, растворились в истории. Сгинули, как и дед его, на родном языке учивший деревенских детей познанию мира, а в ссылке так и не оправившийся от страха и всю свою сибирскую жизнь говоривший с сыном на ломаном русском. Ушли, как бездомный отец, схоронивший под Красноярском своего отца и не нашедший уже родной деревни Варжи.

Белыми лебедями скользят они по черной маслянистой глади заповедного залива — души предков, пришедшие взглянуть на своего растерянного потомка. Недвижны их шеи, а по черной воде тянется за ними стальная линия, прямая и тонкая, они уходят в притаившуюся тишину короткой летней ночи, и холодный туман прячет их у подножия темной сосновой стены.

(Пафоса не занимать! Последние несколько страниц — словно из другой рукописи. Промелькнувший в главе про Косоротова национальный мотив разбухает до тошноты. Тема карельского национализма в романе неуместна, и выбранная для него форма несколько озадачивает.)

13. Коридор

В комнате тихо. Шторы плотно задернуты. Комната совершенно пуста, только шипит в углу невыключенный телевизор, освещая мерцанием пустого экрана голые стены, и на полу, дощатом разошедшемся полу — консервная банка с окурками, у самой ножки шаткого стула, на котором сидит Фул.

Он не спешит выключать телевизор — на белом экране мелькают знакомые и незнакомые лица: улыбается сладко Альберт Петрович, строго глядит Леха, горят безумные глаза Косоротова, печаль

Саньки тщетно зовет его, и визгливо смеется щербатая Ира. Но Фулу нечего ответить им, и одиночество по-хозяйски заполняет все его существо, тянет к горлу свою скользкую руку, оставляя сердце биться ровно и равнодушно. Время застывает легким ноябрьским снегопадом над пустынной грунтовкой, и опускается в тишине уснувшего леса натянута над миром белая марля, но, не достигнув земли, распадается снежной пылью, и новый слой марли уже парит над запрокинутой головой. Для кого работает Леха? Поглядев на его картины, хочется молча обнять друга за плечи, сжать что есть силы и уйти, не оглядываясь, потому что жизнь наша слишком далеко ушла... Или остановилась?

Но нет, где уж тут остановиться! Все мы не думая, стараясь не думать, притворяясь, что не думаем, все мы бежим под сырыми и душными сводами, боясь лишь одного — споткнуться, а мрачная замшелая кладка стен дышит бесстрастной уверенностью, прочностью и постоянством. Призрачный свет впереди, а вернее, лишь память о нем, не дает нам остановиться, и подгоняет нас черный провал отринутого прошлого за спиной, холод забвения настигает нас и давит на наши затылки. Панический топот, сливающийся в ровный неживой гул.

Фул бежит рядом с другими многими, и слышит дыхание за спиной, и сам дышит в чей-то затылок, но — только бы не коснуться бегущих рядом! Белые лица напряженно-бессмысленны, а бегающие в щелках восковых масок глаза говорят об одном — не упасть, не столкнуться с измученными одышкой спутниками, не дать оттеснить себя к ощерившейся трещинами стене. Там, у этой стены, стоят молчаливые тени — порознь, спиной к людскому потоку. Одни понуро, другие с ожесточением, ковыряют они цемент между каменными блоками. Но есть и другие — неуловимым движением рук раздвигают они тяжелые плиты и уходят в одинокую келью, где зажжена свеча, но горит она только для одного. Этим дано многое, но вот спросится ли?

Черными дырами зияют в стенах коридора провалы в другие миры, но жутко приблизиться к ним, хотя и знает Фул, что там — свет, даже солнечный луч может пробиться через маленькое оконце, но где уверенность, что не окажется это оконце всего лишь лампой дневного света, как

там, в подвале? В растерянности мечется взгляд Фула от одного провала к другому, но многие заложены уже красными выщербленными кирпичами или заделаны бугристыми бетонными нащепками, а Фул чувствует на своих глазах ледяные ладони, мертвые руки, обхватившие его голову сзади, но стряхивает их снова.

Он бросается в узкий проход, слабо освещенный тусклой желтой лампочкой. Он не ищет здесь спасения, свернуть в сторону заставляет усталость от бешеной скачки, желание короткого отдыха в кажущейся покойной щели, и Фул старается не замечать напряженной тревоги, не слышать меня, кричащего ему что-то сквозь горячий бордовый бред.

Шаткие фанерные стены, запах плесени, отсыревшие обои клочьями свисают с почерневшей фанеры, а вот и подобие комнаты — настольная лампа над пишущей машинкой в дальнем углу, какие-то книги на полу, на залитом вином журнальном столике. «Стихи Блоку» — читает Фул на обложке одной из них. Липкий стол сплошь усыпан табачным пеплом, на краю его стоит мутный стакан со следами губной помады. Со звучным шлепком падает с дивана сброшенный женской ногой в спущенном чулке роскошный, в Дрездене изданный альбом «Голландская живопись XVIII века». Не эту ли книгу вспоминал Фул в доме Альберта Петровича, когда дрожащими с похмелья пальцами брал со стола хрупкую фарфоровую чашечку? Он поднимает глаза и видит фантастические силуэты вокруг машинки. Человеческие фигуры азартно жестикулируют, обращаясь к склонившемуся над клавишами худому длинноволосому парню. Сухой треск литер, жестко хрустящие слова и дым — сладкий дурманящий дым ползет по комнате, собираясь в густые желтые тучи. На обивку дивана стекает из этого облака ленивая похоть, обволакивая спутанные руки и ноги, и пьяная женщина в нижнем белье бормочет что-то, кажется — стихи.

Искусно начертанный на ватманском листе иероглиф ухмыляется со стены бесовской рожей. Сутулый юноша с прямыми жирными волосами говорит что-то обступившим его теням, говорит жарко, с ненавистью, и руки его дрожат над клавиатурой, а на бумагу ложатся призывы, в своей противоположности похожие крикливостью на те, что начертаны на спинах бегущих по коридо-

ру манекенов. Они уже слышат треск пишущей машинки, уже спешат сюда и вот входят с бесстрастными лицами, в резиновых бахилах и респираторах, и белой дезинфицирующей пеной из брезентовой кишки поливают заплеванный пол и стены, на которых портреты поэтов соседствуют с порнографическими картинками. Уже стоя на подоконнике открытого настежь окна, Фул видит и юношу, и полуголую пьяную женщину, и других, длинноруких и худых, которых уводят куда-то, а они, юродствуя, выкрикивают что-то обличающее, с детства знакомое, старое — все это Фул видит в слепящем свете принесенных восковыми прожекторов. Но Фула опять не заметили, и он выпрыгивает из окна и после долгого, памятного по детским снам, кошмара падения бежит по ночному двору, проламываясь сквозь мокрые кусты, которые освежают его дождевой водой и хлесткими ударами веток по лицу...

14. Башня

Аркаша взглянул на часы. Пять минут восьмого. Через полчаса спектакль.

— Фул! — голос Аркаши угас в закоулках чердака.

Гурон встал, направился нетвердыми шагами к лестнице, поднялся на площадку, а через несколько минут Аркаша увидел перед собой его тупо-изумленное лицо. Гурон тарачил свои белесые глаза и срывающимся голосом хрипел:

— Аркаша, твою мать... Фула нет!

Обмякший от водки Аркаша встряхнулся, спина его выпрямилась, а руки вцепились в край ящика. Несколько секунд он напряженно сосредоточивался, чтобы выразить словом мелькнувшую у обоих догадку:

— Вывалился!

Вместе они бросились к ведущей на башню железной лестнице, расшатанные ступеньки загремели под их башмаками, и проникающий в открытый люк слабый отраженный от низких туч свет вечернего города лег на их растерянные лица. На площадке никого не было. За шатким барьером — крутой скат крыши, а дальше — черный провал двора, протянувшего к небу вершины голых тополей. Гурон заметался по узкому балкончику, пытаясь разглядеть что-нибудь в окружающей башню тьме. Внизу мутным морем лежал город, и из лодочки-башни с

выбитыми ветром стеклами, заброшенной, потрепанной штормами, видны были лишь далекие и чужие огоньки, словно светящиеся глубоководные медузы в толще волн.

Аркаша хотел уже бежать вниз, во двор, и искать Фула на холодном асфальте, но Гурон вдруг заметил какое-то движение на самом краю крыши:

— Тихо!..

Они прислушались. Ветер дребезжал остатками стекол в разошедшихся рамах, рычали грузовики на Пушкинской, но сквозь эти звуки со стороны двора доносился до них слабый стон. Гурон мгновенно протрезвел, решительно стащил с себя старомодный болоньевый плащ и нетерпеливо бросил Аркаше:

— Там он, слышишь? Шарф давай.

Быстро заоченевшими на ледяном ветру руками Аркаша разматал длинный вязаный шарф и подал его Гурону. Он понял, что тот полезет за Фулом сам и разговоры тут бесполезны. Да так оно и лучше — помощи ждать не от кого, да и некогда, а силы у Гурона несравнимо больше, чем у него. Гурон молча скрутил жгутом свой плащ, привязал к нему шарф и протянул один конец Аркаше:

— Ложись на живот, намотай конец на руку и держи крепко.

Аркаша без возражений исполнил приказание Гурона, а тот, перемахнув через бортик, стал осторожно спускаться по скользкому крутому скату. От основания башенки до края крыши было около трех метров. Перехватываясь руками за шарф, Гурон сделал первый шаг, и в тот же миг ноги ушли вниз, потеряв опору. Подморозило, и колючий ветер покрыл мокрую жесть тонкой ледяной коркой. Гурон всей тяжестью тела повис на страховке, обжигаящей петлей стянувшей Аркашино запястье. Рука немела, и Аркаша испугался, что не вытянет двоих. Он хотел сказать об этом Гурону, но не решился, так как знал, что тот все равно обратно не повернет. Значит, если сорвутся, то вдвоем — и Гурон, и Фул.

Дальше Гурон просто сползал на животе, стараясь как можно меньше дергать за шарф. Когда его ноги уперлись в загнутую ребром жесть за полметра до края, петля на руке Аркаши ослабла, но не ослабло напряжение, — он понимал, что, сорвавшись с этого невидимого ему упора, Гурон больше ни за что не сможет уцепиться — ржавая оградка не в счет. Гурон тоже это понял и, подтянувшись к лежащему на самом краю Фулу, стал лихорадочно, одной ру-

кой, стаскивать с себя ремень. Одним концом он привязал его к скрученному плащу, на другом, где была пряжка, сделал петлю и накинул на запястье Фула, привалившегося к ненадежному и чудом удержавшему его ограждению.

— Натяни и держи! — крикнул Гурон, отпуская плащ.

Аркаша выбрал около полуметра шарфа, пока не почувствовал сопротивление. Сердце стучало в горле. Он не видел, что творилось на краю, и поэтому плохо представлял себе ситуацию. Какой вес там, на конце? Один человек, двое?

Осторожно, стараясь не наваливаться на ветхую оградку, Гурон приблизился к Фулу вплотную и терпеливо начал его будить. Почти нежно касаясь грубой ладонью лица Фула, он уговаривал:

— Паля, очнись! Это я, Петр, слышишь? И Аркаша тут. Вон он, наверху, держит. Очнись, браток, ну! Ты, главное дело, не дергайся, спокойно. Ну, окосел, да? Свалился? Ничего, сейчас вылезем, покурим, до театра доберемся, там и проспимся. Слышь, Паля? Ты только не дергайся, понял? Ты сейчас на крыше, на самом краю. Тут высоко-о! Упасть можно, так что спокойно. Давай, браток, прочухивайся. Вот ремень у тебя на руке, сечешь? За него и держись, а Аркаша вытасчит, ты только ногами помогай. Аркаша! ...твою мать. Сейчас Фула потянешь, понял?! — закричал Гурон наверх.

От крика Фул очнулся и оторопело уставился на склоненное над ним лицо Гурона.

— Ты, что ли, Петруха? — он хотел вскочить, но Гурон удержал его и снова стал повторять свои уговоры. Наконец смысл его слов дошел до Фула, и он испуганно заозирался. Ничего не разглядев в кромешной тьме, он поднес к лицу стянутую ремненной петлей руку,

— Господи, как это я...

— Давай, давай, шевелись, Паля, потихоньку. Аркаша вытянет, ты только не психуй. Аркаша, подай голос-то!

— Эй, Павел! Ты цел? Давай за ремень!

— Ребята, да как же... ребята! — сипел Фул протуженно и чуть не плача.

Гурон помог развернуть ему онемевшее тело, Фул подтянулся, держась за ремень, и, скользя башмаками по ледяной корке, стал карабкаться наверх. Ноги скользили, помощи от них почти не было, но надежный ремень придавал уверенность, и Фул почти не испытывал страха. Кроме того, жуткая глубина

двора, к счастью, была совсем не видна. Аркаша тянул что есть силы, молясь про себя, чтобы не развязался узел, а когда обхваченная ремнем рука Фула ухватилась за край площадки, бросил страховку и вцепился в ворот его куртки. В последний момент, когда Фул уже до пояса перевалился через бортик, потерявшие прочность железные прутья резко прогнулись, и на миг Аркаша ощутил всю тяжесть Фула на кончиках своих пальцев. Но прутья все-таки выдержали, и Фулу удалось с Аркашиной помощью забраться на площадку. На четвереньках отползая от края, он привалился к стене и обессиленно закрыл глаза. «Корделия, Корделия...» — бормотал Фул. Он был все еще сильно пьян.

Когда Аркаша, задыхаясь от напряжения, вытащил на балкончик Гурона и оба они наконец облегченно вздохнули, Фул сидел в той же позе. Гурон перевел дух, с усталой улыбкой кивнул Аркаше, подтянул одной рукой спадающие без ремня штаны и ладонью другой звонко, но несильно ударил Фула по щеке.

— Да очнись ты, кабан нечесаный!

Фул приоткрыл глаза, по лицу его текли слезы, он уткнулся головой в колени стоящего рядом Гурона и прошептал:

— Ребята, родные мои...

— Смотрите! — это Аркаша воскликнул, протягивая вниз, за бортик, дрожащую руку.

Фул и Гурон встали с ним рядом, и втроем они смотрели на побелевшую так внезапно землю. Первый колючий снег, принесенный северным вихрем, снег, которому суждено было растаять, припорошил недавно еще черный колодец двора, осветил лица и летящую над городом башенку, нежной прозрачной марлей лег на жести крыши, безгрешной чистотой покрыл городскую грязь и странным образом успокоил растревоженные души троих странников.

15. Корделия

Не было ее и не будет никогда! Зря ты стоишь здесь, упершись горячим лбом в прозрачную трехмиллиметровую стену, — нет внизу никакого движения, кроме мелькания фонаря милицейской машины на набережной. И в коридор тебе уже нет возврата, а пробить прочную кладку (ведь только самому, самому надо!) — дух слабават. Нет тебе пути, Фул, как и тем, что сто-

ят понуро у стены, ковыряя ножиком холодный цемент.

От внезапного звука Фул вздрагивает — замок щелкнул? А вот и чьи-то осторожные шаги. Страх нет, но неловко почему-то — ведь бред все это, галлюцинация. Но дыхание за спиной так явственно, бесспорно, что Фул медленно, не до конца, оборачивается и краем глаза из-за плеча видит — в длинном бежевом плаще с капюшоном, застегнутом на шее серебряной брошью, стоит Она.

Вскакивая, Фул опрокидывает колченогий стул, но грохота не слышит — в тишине комнаты только шорох ресниц.

— Тебе плохо, — скорее по движению губ, чем по голосу, угадывает Фул. Искать в этом голосе значение слов кажется Фулу святотатством — его можно слушать только как музыку. Но голос звучит удивительно реально в его пустой комнате, отражаясь от стен по всем законам акустики, как настоящий, живой и по-женски теплый.

Так что же, отвечать? Или пропадет она в тот же миг, как только зазвучит его голос?

— Корделия...

— Это я, Фул.

Голос ее звучит так же чисто, и лицо ее светло. А Фул, боясь спугнуть ее, стоит не двигаясь и затаив дыхание и даже не догадывается предложить ей сесть. Опрокинутый стул остается на полу. Расшатанный стул, с надломленной ножкой — на грязном полу. Над полом парят ее туфли, те самые черные туфельки, которые Фул видел на размалеванном половике сцены.

— Я искал тебя. Мне плохо без тебя. — Фулу неловко говорить это вслух, непривычно.

— Разве тебе некого любить из тех, кто рядом? — взгляд Корделии с состраданием ощупывает его лицо, нежно ворошит волосы.

Фулу легче — сейчас она как живая, близкая женщина.

— Я не вижу выхода из этого подземелья.

— Это виденье нужно выстрадать. Ты мечешься от боли, которую еще не осознал до конца, и меришь отринувший тебя мир своим безумием.

— Притвориться сумасшедшим — это самая надежная защита.

— Или быть им на самом деле? — она улыбается, словно успокаивая. — Ты ведь помнишь, как смеялась над тобой Ольга, тогда, после премье-

ры. Я знаю больше, для нее ты был не столько смешон — ты был непонятен, и смех ее был скорее защитой.

Фул растерян, он не чувствует уже точки опоры. Кто он — реальный Павел или тот, кем называли его с легкой руки костюмерши Ольги? Не все ли равно, если трещину в сознании уже не заделать. А поэтому — Бог с ним:

— «Я лягу спать в полдень». Шут ушел незаметно, освобождая место тебе. Но ты задержалась ненадолго — помнишь, как старый Лир нес тебя, удушенную, к людям?

— Ты же знаешь, что в старой Англии нас играл один актер. Это не могло быть случайностью, верно?

Что это? Она подыгрывает, пользуясь способностью читать мысли, или осторожно подводит к главному? Фул произносит напряженно:

— Может быть. Но почему ты сравниваешь меня с Шутом Лира, ведь я не говорю никому правды?

— Ты мой шут. Мне не нужно ничего говорить, я знаю твою правду лучше тебя. Я живу за рекой, в стране стариков — и твой путь туда же. Здесь ты не дома.

— Так почему же...

— Ты уже знаешь, Фул.

(Ребяческое переложение Гессе. Гермина в «Степном волке» говорит Гарри Галлеру об обитателях вечности, о святых и об общей родине где-то за чертой времени и пространства. «Там наше место... и поэтому мы мечтаем о смерти, — говорит Гермина. — И нет у нас никого, кто бы проводил нас туда, единственный наш проводник — это тоска по дому».)

Так же, как и Гермина, Корделия говорит Фулу только то, что рассказчик хочет поведать своему герою, или то, что и сам герой знает, но не смеет высказать. Образ Корделии, таким образом, искусствен, хотя внешне и напоминает хорошо нам обоим знакомую женщину. Корделия здесь лишь занавеска, за которую автор прячется, чтобы наставлять Фула.

Вообще, раздвоение личности, которое у Гессе является основной темой (многообразие души и духа), остается для автора «Коридора» непреодолимой проблемой. Альтернативой пошлости будничной жизни он видит только трагедию, совер-

шенно забывая о варианте, предлагаемом юмором. По его представлению, только сумасшествие способно разрушать нормы, в то время как юмору остается лишь роль защиты.

Автор усвоил у Гессе только его слабейшие стороны: конструкцию, распределение сентенций героям, искусственное построение художественного целого из собственных тезисов.

Такой метод может быть лишь ступенью в процессе художественного развития, неким этапом. Это тренировка техники и профессионального умения, но не искусство. Искусство рождается только тогда, когда читатель забывает о писателе и верит в реальность персонажей, когда следы работы писателя не видны, его собственные убеждения не просвечивают сквозь речь героев, и читатель забывает о «сделанности» произведения, и даже вспоминая об этом, не может сказать, «как это сделано».)

Послесловие редактора

Причины споров и непонимания между Александром С. и Павлом П. были в том, что двое близких друзей писали весьма интимную прозу на одном и том же материале. Вряд ли кто-либо из пишущих может стерпеть столь близкого конкурента.

Я планировал более обширное послесловие к публикуемым материалам, но лежащее передо мною письмо делает меня немым. Поэтому вместо подробного анализа ограничусь лишь коротким комментарием.

Из Валаамского монастыря в редакцию пришло страшное известие. В своём письме послушник А. объясняет своё обращение в журнал тем, что у него нет домашнего адреса близких Павла П. Он рассказывает, что от самого П. он слышал только, что нынешний муж его бывшей жены (то есть Александр С.) работает в редакции нашего журнала. Основная весть письма немногословна:

«25 февраля 1995 года брат П. по дороге из монастыря в Гефсиманский скит упал со скользких скал Никоновской бухты и нашёл свою смерть у стоящего под скалой гранитного поклонного креста».

Хотя я и не был лично знаком с П., новость

глубоко потрясла меня: ведь я долго работал с его рукописью, письмами и другими бумагами. Кроме того, место трагедии мне хорошо знакомо.

Прекрасно представляю себе величественные, почти отвесные скалы Никоновской бухты, падение с которых означает верную гибель. Представляю гололёд в конце февраля, покрытые ледяной коркой скалы, угловатые камни внизу, скалящие из-под снега свои хищные зубы. (*«Но не спуститься туда — расшибёшься, слишком крут обрыв, а белые скалы хищно обнажили свои клыки»*, — образ со страниц «Коридора»: мог ли П. предчувствовать свою смерть?) Поверх прибрежных сосен открывается величественный вид на бескрайнюю ледяную равнину Ладоги, над которой воет пронизывающая вьюга.

Почему он свернул с лиственной аллеи к берегу, спиной к часовне Вознесения? На что он глядел с края обрыва — на пейзаж ли, на крест на границе скал и льда? О чём думал? И какая сила столкнула его вниз: случай, судьба или свободный выбор? Несчастный случай... По крайней мере, он нашёл покой в освящённой монастырской земле.

Эстетическая система осуществилась. Предсказание сбылось. Действительность лишь внес-

ла необходимые коррективы: повесившийся в монастырской келье монах пахивает средневековым. Так случается в романах, но не в жизни. Не фиолетовая полоса на синеющей шее, а чёрная ряса на белом снегу под гранитной стеной, растекающееся бурое пятно под головой да тихие снежинки, тающие в парящей ещё крови. Но кровь сворачивается и покрывается снегом, и на следующий день тело укрыто лёгким снежным саваном. Никаких ужасающих картин.

«Я тоже хотел убить монаха, — обычно из таких мыслей рождается роман», — вспоминает С. слова Умберто Эко в конце «Эстетической системы». Роман родился. Но приговорённый к смерти не получил помилования. Я не знал его. Да упокоится с миром.

Аминь.

□

Арви ПЕРТТУ —

писатель и переводчик.

Родился в Петрозаводске,

с 2000 года проживает в Финляндии.

Автор книг на финском языке

«Костер у Лосинога камня» (1989),

«Петрозаводский симпозиум» (2001),

«Экспедиция Папанина» (2006),

«Рассказы о жизни и смерти Лесонена» (2008),

«Скумбрия» (2011).

С 1995 г. член Союза российских писателей,

в 2006 г. принят в Союз писателей Финляндии.

